

*Борис*  
**ВАСИЛЬЕВ**

*Завтра была война*



Борис Васильев

**Завтра была война (сборник)**

«АСТ»

## **Васильев Б. Л.**

Завтра была война (сборник) / Б. Л. Васильев — «АСТ»,

ISBN 978-5-699-44347-5

Б. Васильев (род. 1924 г.), сам прошедший полями сражений, рассказывает о войне открыто и реалистично. Писателя прежде всего интересуют проблемы любви, верности, нравственного долга и искреннего чувства в их противостоянии цинизму, шкурничеству, официозу, буквоедству как во время войны, так и в мирные годы. Фильмы по его сценариям стали культовыми, а его прозой по-прежнему зачитываются миллионы читателей. В автобиографической повести «Летят мои кони» автор раскрывает психологию во многом типичного для поколения Васильева соотечественника неоднозначной эпохи.

ISBN 978-5-699-44347-5

© Васильев Б. Л.

© АСТ

## Содержание

Суд да дело	6
Скулов	6
Следователь	9
Сны	13
Адвокат	18
Лида Егоркина	21
Аня	23
Судья	27
Суд	31
Второй народный заседатель	36
Секретарь суда	40
Суд	42
Перерыв судебного заседания	48
Совещательная комната	53
«Выстрел из прошлого»	59
Летят мои кони...	61
Конец ознакомительного фрагмента.	96

# **Борис Васильев**

## **Завтра была война (сборник)**

© Васильев Б. Л., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

\* \* \*

## Суд да дело

### Скулов

– Двадцать восьмого сентября сего года гражданин Скулов Антон Филимонович, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, русский, ранее не судимый, участник войны, имеющий фронтową инвалидность, проживающий в лично ему принадлежащем доме по Заовражной улице, семнадцать...

Монотонный приевшийся голос следователя гулко отдавался от каменных стен, забранного решеткой, навечно замазанного оконца, цементного пола и тяжелой, обитой железом двери, и Скулов привычно не воспринимал слов. Он неподвижно сидел на холодном, влитом в бетон железном стуле и думал о том, чтобы не качаться, хотя ему очень хотелось качаться взад и вперед в такт монотонному чтению. Так всегда качался тренер киевской футбольной команды «Динамо» Лобановский. А Скулов когда-то – давным-давно, ох как давно! – болел за киевлян и старался смотреть по телевизору все матчи. Но следователь раздражался, когда Скулов начинал раскачиваться, и Антон Филимонович не хотел огорчать его в последнее – он знал, что оно последнее, – свидание.

– ...выстрелом в упор из охотничьего ружья шестнадцатого калибра убил гражданина Вешнева Эдуарда Аркадьевича. Означенный гражданин Вешнев скончался на месте преступления.

Скончался означенный. А мог и не означенный: все они что-то орали тогда. А он стрелял четыре раза, и этот выстрел был последним. Только бы не закачаться. Почему же – означенный?

– Короче говоря, вы, Антон Филимонович, обвиняетесь в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств согласно статье сто три УК РСФСР. Осознаете?

– Где подписать?

– Да вы уже сознались в преступлении, сознались, потом подпишете. Я спрашиваю, осознаете ли всю тяжесть содеянного?

– Убил, не отрицаю.

Следователь был молод – первое серьезное дело! – не растратился еще, не привык и возмутился:

– С олимпийским спокойствием, так, да? С олимпийским спокойствием!

– Не отрицаю, убил, – ясно, безо всяких интонаций повторил Скулов, но закачался.

– Ну, хорошо, прочитайте и распишитесь, – вяло вздохнул следователь. – Ему десять лет в решетку светит, а он знай себе качается.

Скулов подписал не читая. Расслышал слова, усилием заставил себя замереть, а потому и ручку клал медленно, будто в кино.

– Упорный вы, гражданин Скулов, упорный. Принципиально не читаете, принципиально от защиты отказываетесь, а непохоже, чтобы осознали. – Следователь убрал все бумаги, завязал тесемки на папках, но уходить не торопился и конвой не вызывал. – Следствие закончено, но, признаюсь, сильно на вас удивляюсь, Антон Филимонович. Возраст у вас – аюшки, а если крутанут вам полную десятку, на что рассчитываете? Помереть в колонии? Глупо. Я с вами не как следователь, я по-человечески хочу, понимаете? У меня оба деда в войну погибли, я без стариков рос, может, потому психологически душа ваша для меня – терра инкогнита. Ну, застрелили, тяжкое преступление, но ведь сколько вариантов, а? Тут и превышение пределов необходимой обороны, статья сто пять, и состояние сильного нервного волнения, статья сто четыре, да и простая неосторожность – статья сто шесть, наконец; вы же все отмени. Все, и поволокли на себя чистую сто три: умышленное убийство. Зачем?

Зачем?.. Скулов задумался, в себя заглянул и не заметил, как опять закачался. Молодой следователь, энергичный, хороший, наверно, парень, а двух вещей никак понять не хочет. Во-первых, жить-то зачем? А что, во-вторых, он на суде скажет, если смягчать вздумают? А звучать будет так: три раза Скулов в воздух стрелял, четвертый – в него. В означенного. И если бы промахнулся, снова бы перезарядил, а все равно бы в него. И тогда бы уж дуплетом. Тогда бы уж – залп. Вот на суде этот залп и громыхнет, а следователь о статьях толкует.

– Это я вам, гражданин Скулов, к тому говорю, что если рассчитываете разжалобить, так не надейтесь. Все решают факты. Так что проникнитесь...

Проникнитесь. Нелепое слово. Проникновение – это понятно. Или – проникающее. Проникающее ранение... И чего ребенка тогда не взяли, чего испугались? Все-таки за могилой бы ухаживал, а так пропадет могилка. И место пропадет, не лежать ему рядом. А коли так – пусть побольше. Пусть полную катушку, как следователь выражается. Чтобы уйти и не вернуться.

А как же Аня?..

Скулов все сильнее и сильнее раскачивался на неподвижном стуле, уже не только не слушая, но ни слова не слыша, о чем там говорит следователь, а мечтая лишь, чтобы отпустил он его поскорее. Чтобы вернуться в свою камеру, сесть на табурет, качаться и вспоминать. Вспоминать об Ане, и о себе, и опять об Ане, все время об Ане, с первого дня, с первого часа их знакомства и до последнего мига ее жизни. Больше ничего не осталось: ни сожаления, ни жалости, ни страха – только эти воспоминания, в которые никто, ни один человек не мог проникнуть. Это было его царство, его земля обетованная, его бесконечная, каждый раз по-новому, по-особому проживаемая жизнь.

– ...Фронтовик, ордена вон. Это как понять все, Антон Филимонович? Я постичь хочу вашу психологию: человек в войну жизни своей не щадил, а тут взял да и застрелил. Вы же за него, за этого парня, кровь проливали, а что получилось? Как мне понять? А я хочу понять, гражданин Скулов, хочу вникнуть: может, я что-то недоучитываю как следователь, недопонимаю как молодой работник. Подскажите, помогите. Себе не желаете, так хоть мне помогите...

«Помогите! Помогите!..» – это он кричал, и опять крик этот, стократно усиленный прожитым, ворвался в его память, высветив все до мельчайших подробностей. Мокрую весну, мокрый лес с вывороченными стволами, изломанными сучьями – марсианский какой-то лес без ветвей и листвы. И он – с перебитой ногой, которая волочилась за ним по перепаханной танками поляне... Нет, уже не волочилась: Аня отрезала ее ножом, чтобы не волочилась, потому что сама его волокла. «Миленький, потерпи, родименький, вот только через поляночку». А тут – минный налет, вой, скрежет, и ее теплое тело на нем, грудь к груди, лицо к лицу, будто в жаркой любви, а не в бою. «Не бойся, миленький, они мимо все, мимо...» И забилась вдруг, без вскрика забилась, молча приняв в себя все осколки, что им двоим немцы предназначили. И отяжелела, обмякла, а он кричал: «Ты что, сестренка, ты что?..» И сквозь гимнастерку, сквозь белье, сквозь грохот, и бой, и время, и судьбу – сквозь все до сегодняшнего мгновения кровь ее просочилась. Теплая, родная: он всем телом ощутил ее тогда и запомнил. И закричал: «Помогите!» – не себе помощи прося – ей.

Помогли.

– ...Вернулись вы с боевыми заслугами, с тяжким ранением, только не домой вы вернулись, гражданин Скулов. А поехали из госпиталя в город Сызрань и жили там на вокзале, пока из тамошнего госпиталя не выписали вашу фронтовую подругу Ефремову Анну Свиридовну. И тут вы не к законной семье поехали, а вместе с гражданкой Ефремовой к ее брату в наш город. Да что это я вам вашу биографию рассказываю! Я просто понять хочу: любовь? А чего тогда с прежней женой не развелись? Почему с новой брак не зарегистрировали? Все вопросы. Столько в вашей жизни вопросов скопилось – пять лет разбираться надо. Ну, к примеру, почему же насчет брака, а?

Почему? Аня запретила, вот почему: «Не сироти детей, Тоша. Своих у нас не будет, знаешь, вырезанная я вся, а потому не сироти. Надоем, другую встретишь – слова не скажу: то – твоя воля. А дети не твоя воля, а твоя доля, Тошенька...» Вот потому и со старой не развелся, и с новой не расписался.

– ...Я официально своего коллегу уполномочил допросить вашу законную супругу по месту ее жительства для более полного освещения вашей характеристики. Но мне лично интересно знать, почему ваша законная жена тоже не ставила вопрос...

– Устал я, – резко сказал Скулов: невыносим ему был разговор о жене, бывшей жене, хоть и законной. – Устал, нога мозжит, в камеру хочу.

– Я же понять пытался, – расстроено вздохнул следователь. – Последняя возможность... И вызвал конвой.

## Следователь

– А вы что пьете? Ничего? Ну не может быть! Ну тогда бутылку шампанского, – сказал следователь, лихорадочно соображая, хватит ли у него денег. – Шампанское заморозьте!

Последние слова он прокричал на весь ресторан, с шиком, тут же быстро зыркнув на корреспондентку. Но корреспондентка рассеянно оглядывала зал, чуть приоткрыв пухлые подкрашенные губки. «Ох и целуется, поди! – восторженно подумал он. – Неужто в номер не пригласит? Говорить надо, говорить, чего замолк, дубина деревенская?..»

– С утомления даже врачи иногда рекомендуют. А вообще, конечно, в моей следственной практике алкоголь такая деталь, что...

Московская корреспондентка отодвинула стул и положила ногу на ногу. Широкая юбка, спадая тяжелыми складками, обтянула бедро; следователь поперхнулся: «Черт возьми, ну и ножки! А все-таки хорошо, что она в юбке. И юбка – как колокольчик. И блузка на ней – ну, сила, ну, приделась. Может, для встречи, для меня, может?.. Ну дурак буду, если такую упущу. Нет, говорить надо, рассказывать. Может, тот случай? Пикантно и с намеком».

– Да, алкоголь исключительно влияет на некоторые сферы, – откашлявшись, начал он. – Прошлой весной, к примеру, под Первое мая двое юнцов подпоили девушку и воспользовались ее беспомощным состоянием.

– Ну и как же это они воспользовались? – лениво спросила корреспондентка.

– Как? Что значит – как? Изнасилование. Статья сто семнадцатая УК РСФСР.

– Что вы говорите! – Девушка улыбнулась, всплеснув руками. – Она долго отбивалась, пострадавшая невинность ваша?

– В том-то и дело, что алкоголь.

– Вся в синяках и платье в лоскуты?.. Тоже мне, следователь. Да женщина бывает пьяной только тогда, когда сама этого хочет; эта аксиома вам известна?

Ленивый и в то же время покровительственный цинизм москвички больно бил по мужскому самолюбию, но следователь никак не мог преодолеть провинциального комплекса, тихо потел, заранее мучился бессилием и изо всех сил боролся с желанием удрать. Он редко бывал в ресторанах, а если и случалось, то в тени, за спиной умелого организатора, ограничиваясь участием в пиршестве да платежах. Официант, исчезнув, не появлялся, и следователь не знал, надо его звать или так положено; скатерть была мятой, в пятнах и крошках, и он гадал: в какой момент на это следует указать и не упустил ли он этот момент? Эти беспокойства рассеивали внимание, мешали сосредоточиться на том, ради чего он и пришел сюда, сковывали не только его самого, но и его язык, который вообще-то был неплохо подвешен.

– Может, чего желаете?

Это прозвучало так беспомощно, что гостья впервые посмотрела на него с мягким женским пониманием.

– Да не суетитесь вы, все нормально. Отдохнем, расслабитесь, и поговорим.

– Безусловно. – Он жалко улыбнулся, ненавидя себя за эту улыбку. – Знаете, переутомился. Целый день с убийцей. Ну, со Скуловым этим, который вас интересует.

Корреспондентка положила ладонь на его руку.

– Все будет о'кей, верьте мне. И о Скулове поговорим, и об убийстве, и вообще.

«Вообще? Что – вообще? Намекает? А если болтает просто или манера такая?.. И что значит – расслабьтесь? Ведет себя будто старшая, а сама лет на десять младше. Не-ет, с такими ухо остро держать надо, а то враз дурака сделают...»

– Да не бойтесь вы меня. – Она словно читала его мысли. – Ну, хотите, я вами покомандую, пока вы в себя не придете? Годится?

– Годится, – с облегчением вздохнул он и осторожно промокнул платком взмокший лоб.

– Учтите, что я – корреспондент и поэтому всегда на работе. Следовательно, здесь пьем только соки и минералку. Шампанское – в номер, под него и поговорим. Танцуете?

– Вообще-то...

– Не вообще, а конкретно?

– Конкретно нет, – сказал следователь, хотя танцевать умел и любил, но боялся, что не то любил и не так умел.

– Не ревнуйте, когда меня начнут приглашать. – Она улыбнулась. – Меня всегда приглашают, чувствуют, что я – современная. А вы чувствуете?

– От вас флюиды, знаете... – Он опять промокнул лоб сложенным вчетверо платком: будто пресс-папье прокатил. – Как фонтан.

– Ого! – Она вскинула голову и прищурилась. – Кажется, помаленьку приходим в себя, а?

Наконец появился официант. Встряхнул скатерть, в который уж раз застилая ее наизнанку, что только увеличило количество пятен. Принес закуску, какая сыскалась, воду, шампанское, виноградный сок. Следователь тотчас же налил его, пробормотал: «За наше знакомство!» – и поспешно выпил, надеясь исполнить рекомендацию московской гостыи и расслабиться. Сделать этого ему, однако, не удалось, но некую мертвую точку он все же преодолел, и вечер наконец-таки начался. Следователь бормотал дежурные комплименты, промокал лоб и уговаривал выпить шампанское здесь.

– Ну надо же, а? За знакомство и вообще. А?

Корреспондентка смеялась, закидывая голову, и следователь начинал судорожно вытирать пот. С каждой минутой его собеседница становилась все соблазнительнее, а когда начал играть оркестр, ее и в самом деле наперебой вытаскивали танцевать. Следователь цепко смотрел, как ловко она скачет, пламенел еще больше и с надеждой поглядывал на шампанское, которое он гордо приказал заморозить и которое, естественно, никто замораживать не стал.

Все-таки она вытасила его на первом же «белом» танце. Он хорошо чувствовал ритм, но все время думал, как бы половчее дернуться, взмахнуть рукой или лихо прищелкнуть пальцами, и это лишало его естественности. Да еще на ногах гирями висели неуклюжие сапоги с суконным верхом и обрешиненной подошвой, давно именуемые «прощай молодость». Дома были вполне современные, но он же не думал утром, что угодит в ресторан; он шел в следственный изолятор, в сырые, холодные казематы с бетонными полами, от которых у него начинали отчаянно ныть застуженные на зимней рыбалке ноги. И он всегда надевал в тюрьму эти коты, и они спасали его, но скакать в них под современные ритмы оказалось совсем нелегко. Все сегодня было против него, все наваливалось, стесняло, осложняло и утяжеляло; иными словами, все обостряло и без того достаточно ощутимый им комплекс неполноценности. А партнерша то взлетала, как птица, то изгибалась, как змея, и широченная юбка металась, как парус на ветру.

– Ну все, сматываемся, – объявила она после этого бешеного танца. – На меня глаз положили, пора отрываться. Расплачивайтесь, и двинем.

Он не знал, полагается ему проверять счет или это не принято. Внутренне он физически ощущал, сколько у него денег и где они лежат, и до ужаса боялся, а вдруг не хватит. И косил глазами, когда официант бегал карандашиком по бумажке, стремясь усесть итоговую сумму. А когда усек, вздохнул с облегчением.

– Перепрыгали, что ли? – удивилась гостья.

– Есть немного, – согласился он. – Все, знаете, дела. Практики танцевальной маловато.

На радостях он отвалил пятерку «на чай», а потом долго маялся, что много. И не столько ему было жалко денег, сколько совестно перед официантом, взгляд которого уловил, а уважения в нем не почувствовал. Да что там уважения: презрением облили, как из шланга. И он волок на себе это холуйское пренебрежение за чрезмерные чаевые, и ощущение потливого бессилия уже не покидало его. А тут еще приходилось подниматься по лестнице на шестой

этаж, прятаться в углах и бесшумно перебегать по знакам опытной девицы, ибо горничные, талантливо рассажены в пунктах наилучшей обзорности, из всех своих обязанностей с рвением исполняли лишь одну: следили, кто когда и с кем пришел в свой номер. И следовательно взмок и выдохся, пока мышью юркнул к корреспондентке.

– Идиотская у вас гостиница, – шепотом сказала она, беззвучно повернув ключ. – Все просматривается, как на стадионе.

Провела в комнату, усадила в кресло. Закрыв дверь в тамбур, осмелела и говорила почти нормальным голосом:

– Снимайте пиджак, галстук, а главное, расслабьтесь. Я только душ приму: перепрыгала.

Ловко выхватив что-то из шкафа, москвичка исчезла в ванной, откуда тотчас же послышался тугой шум душа. А следовательно пиджак снять не решился, потому что носил подтяжки и считал, что показывать их неудобно. Галстук он все же ослабил и расстегнул промокший ворот рубашки, но облегчения не почувствовал, поскольку в голове в разных вариантах вертелась одна и та же мысль: ох, напрасно! «А вдруг нагишом выскочит? – уже почти с ужасом думалось ему. – Сама же сказала, что современная, знаем мы этих современных. Выйдет после душа в чем мама родила, хватанет шампанского, намекнет, а мне что делать?»

Следователь решил было немедленно уйти, пока хозяйка заманчиво повизгивала в ванной. Но успел только затянуть галстук, и тут вышла корреспондентка в коротком, отчаянной смелости халатике, в шлепанцах ив нейлоновом чепчике, с которого капала вода. На свежем, очень радостном лице ее не было никакой косметики, и поэтому вся она казалась куда моложе и куда недоступнее.

– Что это вы будто на приеме? – Она плюхнулась в кресло, нимало не заботясь, что полы халатика распахнулись. – Уф, обожаю ледяной душ! Сейчас выпьем, и вы расскажете это дельце с убийством допризывника в день проводов в армию.

– Ну нельзя сказать, что допризывника, и вовсе не в день проводов, и вообще окончательно решать будет суд, – забормотал он, стараясь не глядеть на белые колени. – Формально следствие закончено, но еще не закрыто, поскольку я еще не оформил...

– Да будет вам, – безмятежно перебила она, стянула мокрый чепчик, трянула головой, рассыпая волосы по плечам. – Журналистику не сенсации интересуют, а проблемы, и моя первая крупная публикация должна быть взрывной.

– Но так же нельзя: рассказывать до завершения...

– Открывайте шампанское, Шерлок Холмс!

Он послушно открыл шампанское – слава богу, не облил ничего, – налил, чтобы пена поднялась шапкой, сказал: «За вас!» – а подумал: «Ну до чего же соблазнительная баба!»

– Ну? – нетерпеливо сказала она. – Давайте выпьем и – к рассказу. С подробностями и деталями.

– Успеем с деталями, – ненатурально засмеялся он. – За нашу встречу.

А сам думал: «Не так надо, не так! Надо на брудершафт предложить, губы ее поймать и рукой... А она – по морде. Может случиться такой вариант? Вполне. В Москве, поди, ни на какие брудершафты не пьют, уж забыли, как пить-то на этот брудершафт. Нет, говорить придется, а там видно будет, говорить...»

– И выстрелил в упор? – деловито выпытывала она. – Значит, из-за цветочка, который уходящий в армию Ромео хотел преподнести своей Джульетте, старик всадил в него пулю?

– Ну зачем же. Мотивы поступка потерпевшего не расследовались, и мы не можем утверждать...

– Но какая деталь: убийство из-за цветка. Потрясающе! И – ни тени раскаяния?

– Возможно, он еще не осознает. – Следователю стало неудобно. – Он до сих пор как бы в шоке. Качается, молчит.

– Шок! Скажете тоже. Хладнокровное убийство на почве собственнических интересов. Кулак ваш Скулов. Кулак новой формации.

Ни за что бы он ни слова не сказал ей, если бы не коленки!

– Ну, ну, успокойтесь, поцелуи оставим на завтра. Спасибо за пулевой материал и – до завтра. До завтра, мой Шерлок Холмс, вы поняли? Чао. Мимо дежурной – быстро и сосредоточенно. Ясно?

Дверь захлопнулась, шелкнул язычок замка. Следователь быстро и сосредоточенно прошел не только мимо дежурной, но и весь путь до собственного дома, и в голове у него празднично гремело: «Завтра! Завтра, завтра!..»

На другой день он явился ровнехонько в договоренное время, сунулся в номер, но дверь ему открыл совершенно незнакомый мужчина: корреспондентка вылетела в Москву утренним самолетом...

## СНЫ

Делопроизводство шло своими путями, Скулова никто не беспокоил, и он был почти счастлив. Сидеть ему не возбранялось, и он сидел, качаясь в свое удовольствие. Качался и думал постоянно об одном – об Ане, доводя себя в конце концов до снов наяву, до видений настолько четких и реальных, что уплывали стены, камера, тюрьма и само время поворачивало туда, куда он хотел его повернуть. Вот бы следователь удивился, узнав: ни разу еще родные его подопечному Антону Филимоновичу Скулову не привиделись – ни законная жена, ни законные дети. Только незаконная, одна незаконная, исключительно и постоянно – она, нерасписанная «фронтальная любовница», как про нее во всех жалобах писали, когда еще надеялись вернуть его с помощью парткомов, завкомов или милиции. Нерасписанная его Анна Свиридовна Ефремова, будто любовь расписать можно, вернуть можно или прогнать можно, если общественность такое решение примет.

– Слушай, Антон Филимонович, у тебя, оказывается, жена есть? Живет с двумя детьми в Саратовской области.

– Моя жена – Анна Ефремова, что в заводской поликлинике работает медицинской сестрой. И больше никого. Никого, понятно?

– погоди, товарищ Скулов, не лезь в бутылку. Ты – член партии, я – твой секретарь, тобою же, между прочим, и выбранный. И приходит письмо. – Секретарь резко ударил ладонью по столу, папки подпрыгнули, чернильница: тогда принято было, чтоб чернильницы на партийных столах стояли. – «Помогите работнице нашей фабрики стахановке Нинель Павловне Скуловой вернуть мужа» – вот какое письмо. И ты мне объясни ситуацию, дорогой товарищ, помоги разобраться, а не бери на глотку.

«Помоги разобраться». Всю жизнь он эту просьбу слышал и никому не помогал: в чем разбираться-то? За что один человек другого любит? Ну как это объяснить? Вот за что не любит – это пожалуйста, это хоть сразу, хоть подумав, за что он свою законную не любит. А вот за что незаконную Аню любит, это никак невозможно объяснить. Это и объяснять-то грешно, ненужно, нескромно как-то. И тот морячок из победного сорок пятого, тот, без обеих ног, что на сызранском вокзале с ним рядом на тележке сам себя по земле перекатывал, обрубок-человек, полчеловека, тот сразу все понял. Тот все сообразил, без вопросов.

– Пофартило тебе, браток, поздравляю. Любовь – мотор, понял? Есть любовь – значит, есть мотор, значит, живешь еще, фронтальная душа!

– Знаешь, братишка, я в лицо-то могу ее не узнать. Скоро выписка, выйдет она, а я – мимо.

– Не бойсь, кореш, все устроим, – улынулся морячок. – Аня Ефремова, так? Ну все, первым к ней подкачу, а ты – за мной, понял?

– Дело, – с облегчением заулыбался Скулов, в то время звавшийся просто Антоном среди наводнивших Сызрань инвалидов, хотя был постарше многих и войну закончил капитаном. – А дальше как? Ни кола ни двора, две шинели – весь достаток.

– Вот – главный вопрос, – вздохнул морячок-обрубок. – Но не бойсь, я – севастополец, понял?

Через три дня после этого вокзального разговора к несуразно длинному, с еще дореволюционной коридорной системой дому, что стоял за паровыми мельницами, двигалась странная процессия. Впереди с визгом и скрежетом ехал на роликовой тележке безногий черноморский морячок, а за ним вереницей тащились одноногие и однорукие, слепые и глухие, трясущиеся и скорбно молчащие, потерявшие способность говорить вместе с вырванным пулей языком. Скулова не было в этой инвалидной колонне: он торчал в госпитале, обмениваясь с Аней записками, лишенный возможности хоть раз увидеть ее, поскольку в женский госпиталь муж-

чины не допускались по настоятельному требованию искалеченных фронтовичек. Но простым и прекрасным было братство изуродованных войной совсем еще молодых людей.

– Ты не трогай нас, милиция, – сказал на первом же перекрестке морячок, поскольку шествие было сразу же остановлено. – Мы к Родионихе идем просить ее по-хорошему помочь сестренке-фронтовичке. Идем с нами, милиция, ежели сомневаешься.

– Давай руку, земляк, – сказал милиционер.

Он взял морячка за руку и пошел посреди улицы, а морячок катился за ним на буксире. И остальные прибавили шагу, и вся эта инвалидная команда остановилась во дворе того длинного кирпичного несуразного дома, где коридорная система процветала еще при старом режиме. И сразу высыпали все жильцы, ибо обуглены были сердца тех лет.

– К тебе делегация, Родионова, – сказал милиционер известной кладбищенской нищенке, которую сам же не раз забирал в отделение за пьяные вопли и истерики.

Так сказал немолодой усталый милиционер, у которого было два ранения и четверо иждивенческих ртов и который уж столько лет не мог позволить себе не только выпить – лишнего куса хлеба позволить себе не мог. А вперед выкатился морячок... Как его звали?.. Забыл Скулов, как его звали. Выкатился этот морячок на своих роликах, кулаками отталкиваясь от родимой земли. Подкатился к нахмуренной, не успевшей в то утро прохмелиться Родионихе и глянул на нее снизу вверх, как на мать божию.

– Здравствуй, мать, – сказал. – Прости, что поклониться тебе не могу, но все равно прими ты поклон мой за муки твои. Двоих сынов отдала ты, солдатская мама, и подвиг твой никто не забудет. Но не ради этих справедливых слов пришли мы сегодня к тебе. Через неделю из госпиталя выписывается девушка-фронтовичка, а у нее в Сызрани ни угла, ни знакомых, а в кармане и рубля медяками не наскребешь: фронтовые санитарки, мать, за спасибо под пули лезли. И вот мы просим тебя, вот все мы, калеки, сыны твои, не заради Христа – за солдатское твое сердце просим пустить к себе нашу фронтовую сестренку Аню Ефремову.

Говорили потом, что такой истерики давно с Родионихой не случалось. Два часа билась, землю грызла, голосила, патлы на себе рвала, два часа ее соседки отпаивали. А милиционер «скорую» вызвал, будто и впрямь солдатская мать Родионова еще раз в один день две похоронки получила, как три года назад...

Скулов улыбался, качаясь в своей одиночке, и слезы текли по небритым щекам, а он и не знал, что они текут. Только сейчас, только убив человека, только пройдя допросы и засев в одиночной камере, он сыскал время оглянуться, по косточкам разобрать свою молодость и заплакать от счастья. Какая удивительная, какая чистая и счастливая судьба выпала на его долю, столкнув с фронтом и Аней, с Аней и фронтовиками, с братством и Аней, с Аней и дружбой, с любовью и Аней, верностью и Аней, радостью и Аней. Да что они понимают сегодня о счастье, эти молодые? Счастье набраться? Переспать? Накуриться до одури? Штаны с наклейкой приобрести? Деньжат урвать побольше?.. Да разве это счастье, бедные вы люди! Счастье – это из боя живым выйти, молча, плечом к плечу с теми покурить, кто рядом был в том бою. Счастье законной своей фронтовой выпить без слов, тех помянув, которые из боя не вышли, на которых тебе похоронки писать и чью долю ты и пьешь за помин их душ. Счастье – хлеба сухого кусок, когда не жрал трое суток, когда уж не голод, не боль, когда тоска в животе, по живому тоска, по себе самому, потому что живот твой от тебя тайком тебя же и переваривает. А ты ему – хлебушка, туда, в нутро, в тоску сосущую, в чрево свое, да не сразу, не давясь, а пожевать сперва, ощущением еды каждую клеточку согреть, и проглотить не спеша, и ждать, пока он идет, этот кусок, по горлу, по пищеводу в тебя идет, как подмога, как боевая помощь идет. Счастье – воды полкотелка, когда день на жаре под бомбежкой пролежал мордой в сухую землю, которую грыз от ужаса, в которую лез, ногти до крови срывая. И ком в глотке стоял такой, будто ежа проволочного в тебя вбили да еще и солью присыпали, и не глотаешь уже, и дерет гортань, и потеть нечем, кроме как солью одной, и соль эта коростой на плечах твоих

и на груди. И вот тогда – полкотелка. Меньше нельзя, жажды не уймешь, и больше нельзя – вырвет тебя, желчью вывернет вместе с той пылью и гарью, что глотал ты, когда «юнкеры» полосовали тебя и вдоль, и поперек, и без перерыва. Ах ты, водичка ты моя фронтовая, пополам с кровью, с порохом, с чадом, с пылью и слезами солдатскими. И пьешь ты ее, сперва задыхаясь, булькая, гукая, со стоном пьешь такими глотками, что болью в голове отдает. А потом отдышишься, передохнешь и остаток медленно цедишь, как вино, как самый дорогой коньяк, или что там еще вроде этого. И пьянеешь от этой воды – вот счастье...

Улыбался Скулов, раскачиваясь в свое удовольствие и по-прежнему не замечая слез, что путались в тюремной его небритости. Он имел право и на улыбку, и на слезы, потому что был счастлив. Всеми чувствами, которые только есть у человека, всеми был счастлив одновременно, и каждое чувство в отдельности счастливо было. Был счастлив. Это ведь мало кто про себя сказать может, а он и не говорил даже: он твердо знал, что был счастлив.

Загрохотали дверью, залязгали железом, и Скулов опомнился. Встал торопливо, руками отер лицо и в дверь взглядом уперся. Она открылась без скрипа, и вошел хмурый сержант – выводящий. Скулов знал его: сержант не раз сопровождал на допросы, и почему-то был уверен, что сержант добрый и отзывчивый, а хмурится, потому что такая должность.

– Адвокат тебя требует.

– Я отказываюсь от защиты.

– Положено, раз требует. Мое дело – отвести да назад привести.

Гулко залязгало, загремело железо, и Скулов – руки назад – медленно побрел, скрипя протезом, длинными коридорами старого тюремного здания, крыло которого использовалось под следственный изолятор. Дорога эта была знакома ему до мелочей, до выщербленки в плитах пола, и он давно уже привык думать не о ней и не о том, куда и зачем его ведут, а о себе. О своем ушедшем, в которое стремился каждое мгновение, даже во сне стремился.

Да, так о счастье. Оно началось в тот день, когда они с морячком-коротышкой ждали в вестибюле госпиталя, откуда Скулов столько дней передавал передачи и записки. Ждать ответов всегда приходилось долго: то ли нянечки не спешили, то ли сама Аня. Она писала очень мало – одну-две строчки, всегда на «вы» и всегда так, будто и не знает, кто такой Скулов, почему он ей носит передачи и должна ли она принимать их и отвечать ему. Об этом он сбивчиво – волновался тогда так, как ни в одном бою не волновался! – рассказывал морячку-севастопольцу... господи, как же все-таки звали-то его?.. когда открылась дверь и вышла госпитальная нянечка с девочкой-подростком в платочке и больничном бумазеевом халате. Он мельком глянул: нянечка была незнакомой, девочка – тем более, и продолжал говорить...

– Кто тут за Ефремовой? – громко спросила нянечка, оглядываясь. – Говорили, будто муж встречается.

– Ты?.. – Он обогнал инвалида на каталке, держал Аню за маленькие, худые-худые руки и громко кричал: – Это ты? Ты?..

Аня смотрела в упор огромными глазами, из которых безостановочно текли слезы, и робко, но настойчиво тянула свои руки из его лапищ. А он не отпуская, зачем-то все время встряхивал их и твердил:

– Да, да, это я за Ефремовой, я, Скулов Антон Филимонович, муж, значит...

Он вел Аню через город, а вот ехал ли за ними морячок на своей тележке, не мог вспомнить, как ни пытался. Помнил отчетливо, до цветочков помнил многократно стиранный госпитальный халат, который был Ане так велик, что она почти дважды в него заворачивалась, и полы сходились на спине. Помнил белую косыночку на стриженной голове и маленький узелок с жалкими пожитками, который Аня всю дорогу бережно прижимала к животу двумя руками. Помнил, как высыпали во двор несуразного того дома женщины, как целовали они Аню, как кричали и плакали, потому что не было в том дворе семьи, у которой война не выбила или не искалечила саму надежду ее, смысл, ради чего она создавалась, символ любви и жизни –

ее детей. А Аня стояла как закаменевшая, ничего не понимая и пугаясь, и он постарался увести ее поскорее в комнату, где торжественно ждала Родиониха, но и там – со стуком и без стука – то и дело распахивалась дверь, и темные, в сорок лет состарившиеся женщины несли израненной девчонке все, чем богаты были: платьишки, оставшиеся от уже выросших или уже погибших дочерей, старые туфли, кофты, платки, теплые рейтузы, чудом не проеденные шелковые комбинации, которые сберегали для так и не вернувшихся мужей. Дареное складывалось на кровать, все целовали Аню, уважительно жали руку Скулову и тотчас же уходили, чтоб не мешать чужому счастью, чтоб не бросить ненароком тень своего черного горя на этих двух уцелевших. Ах, люди, люди, как же вы радовались нашей радости...

Остановился Скулов.

– Чего встал? – строго спросил конвоир. – Давай вперед, не положено тебе останавливаться.

Слезам, как пленкой, глаза застлало, поэтому он и остановился: руки за спиной, не утреешься. Но сержанту объяснять ничего не хотелось, и, кое-как проморгавшись, Скулов снова побрел по гулким лестницам, с трудом различая ступени. Шел медленно, надеясь, что слезы просохнут и что войдет он к адвокату без всяких следов слабости, хотя и не слабость это вовсе была, а, наоборот, сила, единственная сила, лично ему принадлежащая, и какое им всем дело, что выражается она в слезах. Так он думал, пока не остановился перед дверью камеры, где обычно допросы снимали; глаза к этому времени просохли и проморгались, он вошел и... Вот не думал, что способен еще чему-то удивляться, такое повидав, такое совершив и столько отсидев: адвокат показался знакомым. Если уж честно, Скулов вообще не хотел, чтоб его кто-то защищал, но воспринимал это как должное: положено по закону, и все, и...

– ...Я буду осуществлять вашу защиту.

К тому времени конвойный ушел, адвокат представился, Скулов на стул сел, в пол влитый на веки вечные, и даже чуть покачался, но в меру, себя контролируя. Адвокат что-то говорил, но до Скулова ничего не доходило, кроме последней фразы насчет защиты. Тут он как бы очнулся, вынырнул, что ли, и впервые внимательно разглядел своего защитника.

За столом сидел рыхлый, задыхающийся даже в разговоре его возраста мужчина в толстых притемненных очках на крючковатом мясистом носу, в аккуратно отглаженном, далеко не новом костюме, с остатками некогда буйных, а теперь реденьких и совершенно белых волос на круглой голове с большими обвислыми ушами. Перед ним лежали выписки из «дела» – много листков, клочков каких-то, – которые он медленно переворачивал, просматривая и задавая вопросы. Вопросы касались деталей, мелких обстоятельств, и Скулов отвечал не задумываясь, потому что как уперся в защитника взглядом, так и не отрывал этого взгляда. Не от самого рыхлого мужчины, а от его немодного, залоснившегося на локтях пиджака, на котором в три ряда шли орденские планки. И Скулов, привычно скользнув взглядом влево от медали за участие в Великой Отечественной войне, безошибочно определил орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и одну – «За боевые заслуги» – «забезе», как говорили на фронте, и понял, что перед ним – солдат.

– Уточнили, – сказал адвокат. – Это, следовательно, мы уточнили.

Он снял очки, задумчиво постучал ими по страницам своих заметок, и Скулова поразили глаза: без ресниц, с огромными, навывкате белками, в красных прожилках и с таким тоскливым, как бы внутрь, в себя обращенным взглядом, что у Скулова екнуло сердце: «Что же ты, фронтовичок, братишка, и тебе, видать, несладко выходит?»

– Скажите мне, Скулов, скажите, бога ради, откровенно – очень мне правда нужна, понимаете? – скажите, почему вы выстрелили в человека?

Скулов упорно смотрел на планки, на рыхлую, задыхающуюся солдатскую грудь, которая прикрыла Родину сорок лет назад, рядом с ним прикрыла, с безногим морячком... господи, да как же звали-то его?.. рядом с Аней, и, может, у него тоже своя Аня была, которая, плача

в голос от страха и слабости, выволакивала его на себе под сплошным перекрестным, трижды проклятым огнем. А теперь он правды от него, от Скулова, требует, и не «за так», поди: кто тут «за так» – то надсаживается, в тюрьге этой?.. И сказал грубо, с вызовом:

– Правду тебе? Так на мне не заработаешь, вот и вся правда.

– Я сюда не за деньгами хожу.

– Брось заливать, солдат! Кто упал, с того сперва семь шкур дерут, а уж потом топчут, покуда не надоест.

– Да нет, знаете, у нас лежачего не бьют, – с обидой сказал адвокат.

«Лежачего не бьют!..» – вспыхнуло вдруг в Скулове – то ли в голове, то ли в сердце; жарко стало, нестерпимо жарко от стыда, как от пламени. «Лежачего не бьют» – так говорил его, Скулова, защитник на том, старом, давно прошедшем процессе, когда он работал директором рынка и его ловко подвели под монастырь. И адвокат – вот этот же самый, теперь-то Антон Филимонович узнал его точно, хоть и изменился тот неузнаваемо. Да, это был он, он; «лежачего не бьют» все говорил и отстоял его, Скулова, доказав, что виною доверчивость бывшего директора, а не преступная корысть. Он! Как же раньше-то Скулов его не узнал, как посмел, позволил себе не узнать?!

## Адвокат

Угадал Скулов: была у адвоката своя Аня, которую звали Беллой. Она служила, правда, не санитаркой, а радисткой, познакомились они в Берлине за неделю до Победы и вернулись на родину мужем и женой. Родные Беллы – все до единого – погибли в Бабьем Яру, у него – во рвах Краснодара; специальности не было, угла не было, вещей не было, денег не было, и даже образование и у одного, и у другого было прервано войной. И Белла сказала:

– Я пойду в дворники, и мы получим комнату. Я буду мыть подъезды, а ты сможешь учиться.

– Почему я, а не ты? Объясни, почему именно я? Нет, учиться пойдешь ты, а я пойду на завод...

– Не спорь, я уже решила. Только обещай, что будешь адвокатом, ведь ты так красиво говоришь. Ой, эти твои слова... Я на минуточку развесила уши и так и не заметила, как это мы очутились в кустах. Нет, знаешь, кто ты? Ты – Цицерон, и ты пойдешь учиться!

Так и случилось: она чистила улицы, а он учился на Цицерона. Тогда еще не было сына Володи, а была полуподвальная комната, заваленный книгами канцелярский стол, выпрошенный Беллой в домоуправлении, да огромный пружинный матрас на кирпичках, на котором он каждое утро просыпался один, слушая, как где-то совсем рядом, над головой, шваркает об асфальт ее метла. Он всегда завтракал в одиночестве и бежал в институт, а звук метлы слышался ему постоянно, и поэтому он учился изо всех сил. Да и вся его группа, ходившая в офицерских кителях или солдатских гимнастерках с нашивками за ранения, переросла студенческие годы не возрастом, а фронтом и потому занималась очень старательно. А вскоре он закончил, получил назначение в этот городок, был принят в аспирантуру, Белла родила сына, и началось такое долгожданное, такое выстраданное счастье.

Уважаемый человек, фронтовик, известный адвокат. Уважаемая работница ткацкой фабрики, бригадир лучшей бригады, награжденная за работу орденом, депутат районного Совета. Молодой инженер той же фабрики, с блеском окончивший московский институт, красивый парень, мечта многих – и не только фабричных – девчат. Ну и о чем же прикажете мечтать? И вся мечта лопнула, как мыльный пузырь.

– Дорогие мои родители, я очень надеюсь, что вы поймете меня. Я вас бесконечно люблю, я горжусь вами, я вам всем обязан, но я, увы, вырос. Пришла моя пора, я должен устраивать свою жизнь.

– Ты собрался жениться? – радостно спросила Белла.

А вот он и не подумал о женитьбе сына: женитьба не требует таких преамбул. Кажется, вот тогда-то у него впервые сжало сердце, а заболело не оно, а спина. Под лопаткой.

– Я решил уехать. От вас требуется письменное подтверждение, что...

Он до сей поры помнил, как на глазах в считанные секунды изменилась его жена. Из веселой, способной и в пенсионном возрасте хохотать до слез, уверенной в себе, семье и друзьях женщины она превратилась в сутулую, носатую старуху. Будто выпустили воздух... Нет, не воздух из нее выпустили – из нее жизнь вынули. Душу ее бессмертную.

– Уверю вас, это не легкомыслие, не порыв...

Господи, какой старой, какой дряхлой стала его Белла! Она вдруг все забыла: детство, школу, фронт, работу, награды, уважение и почет. Она запричитала с такими интонациями, что он вынужден был закричать. Впервые в жизни закричать на свою Беллу. И когда она замолчала, сказал почти спокойно:

– Ни я, ни моя супруга не имеем к тебе никаких имущественных, финансовых и прочих претензий.

Что было потом? Слезы, уговоры, ссоры, объяснения. Потом подошел срок депутатских полномочий, и Белла отказалась баллотироваться, сославшись на здоровье. Потом – отъезд сына, инфаркт отца и пенсия матери. Спасибо врачам: вытащили.

– Нет, все, все. Мы получили большое спасибо от сына, чего ты еще ждешь? Еще одного инфаркта и венка от Совета ветеранов? Ну так послушай меня, как слушал всегда, и оставь адвокатскую практику.

– Но ты же называла меня Цицероном. Или ты всю жизнь шутила?

– Это не я шутила всю жизнь. Это жизнь шутит всю жизнь.

Он понимал, что жена права, что за его старой, совсем согнувшейся спиной нетерпеливо перебирает копытами новая смена в лице молодого стажера, мечтающего о его практике и его славе. Он понимал, что теперь его держат на плаву только тяжелые солдатские медали, понимал, что любая оплошность, любой срыв могут перевесить чашу весов, и тогда ему не помогут даже фронтовые ранения: пенсионный возраст есть пенсионный возраст. Он все понимал прекрасно и удивлялся, что друзья и жена не понимают главного. Самого основного не понимают: он шел в адвокатуру не за гонорарами, не за славой, не ради самоутверждения и даже не потому, что так хотелось Белле. От природы он был застенчив, и никакая тренировка, никакая профессиональная выучка ничего поделать не могли: он говорил скверно, скучно, слушать его не любили, но у него всегда было чувство исполненного долга. Он говорил за тех, кто не мог говорить, не мог строго логически вычерчивать линию собственной защиты, не мог искать следствий у причин и причин у следствий: их голосом, их логикой, их криком о спасении был он, и взгляд из-за барьера, с той скамьи был для него дороже его адвокатского гонорара. Он сам выбрал продолжение своей юности, сделав свою жизнь борьбой во имя справедливости, а каждый процесс – боем за справедливость, и поэтому избегал громких дел, предпочитая скромные гражданские иски, разделы имущества, мелкие, идущие от доверчивости или ротозейства растраты. Здесь судьба обрушивалась на безвинных или просто слабых, и он был той единственной опорой, которая не позволяла покачнувшемуся упасть. И, перестрадав и переболев, он ничего не стал менять в своей судьбе, по-прежнему скрипучим голосом доказывая правоту доверчивых девчонок, оскорбленных стариков или разобиженных старух.

– Я понимаю, ты хочешь умереть стоя, – вздыхала Белла – старая, сварливая, разучившаяся готовить его Белла. – Все хотят умереть стоя, но скольких валят благодарные сыновья. И тебя свалят тоже, верь мне, как верил всегда. В нашем возрасте лучше всего давать советы. Сидеть себе в консультации за столом, давать советы и выписывать квитанции.

– Да, да, ты права, ты абсолютно права, Беллочка, но я еще поработаю именно так, как столько лет работал. Еще чуть, полгода.

Он знал дело Скулова, но не хотел браться за него. Во-первых, не его это был профиль, а во-вторых, уж больно шумели в городе, спорили, обсуждали, негодовали. Но что-то засело в нем, что-то не давало покоя, что-то, как заноза в ладони, все время напоминало: Скулов. Лет десять, а то и все пятнадцать назад этот самый Скулов был директором рынка, и на него накрутили такое, что греметь бы этому Скулову за решетку, если бы не усилия защиты. Он со стажером провел собственное следствие, обнаружил дополнительные факты, свидетелей и такие документы, что суд освободил Скулова из-под стражи в зале суда за отсутствием состава преступления. Но не из-за того Скулов сидел в нем занозой, что когда-то был его подзащитным, совсем не из-за того. И он думал о Скулове и об убийстве, много думал, а потом вдруг взял его дело по первому предложению суда.

– Ты сошел с ума, да? Нет, ты сошел с ума. Или ты с позором проиграешь процесс, или... Да какое или, какое? И так, и сяк, и этак под тебя подведут пенсионную книжку!

– Успокойся, Беллочка, не трепли себе нервы. Я должен выиграть это дело, потому что Скулов не может быть убийцей. Такие не убивают, Беллочка, таких убивают. И пусть меня отправят на пенсию – я должен, понимаешь? Должен прикрыть солдата.

А солдат ему – сапогом в душу.

Однако он задушил в себе антипатию: юрист не имеет права руководствоваться личными чувствами, эдак недолго и до предвзятости. И Скулов, видимо, тоже кое-что осознал и хотя и твердил по-прежнему, что не желает никакой помощи, но относился виновато, вежливо и предупредительно. Адвокат не нажимал, действуя осторожно, и постепенно отношения с защитным выровнялись, вошли в норму, и хмурый, сам себя заперевший на все замки обвиняемый стал не просто отвечать, но – рассказывать, с каждым свиданием открываясь и шире, и глубже. И старый адвокат уже намечал линию, уже уловил главное – мотив, и был убежден, что на этом мотиве, безусловно, выиграет очередной бой за справедливость, ибо верил, что Скулов не хотел никого убивать.

Вскоре определился день судебного разбирательства и состав суда, и защитник порадовался, потому что хорошо знал Ирину Андреевну Голубову как человека исключительно аккуратного, дотошного, честного и порядочного. Именно такой судья и должен был вершить суд в юридически очень сложном деле Скулова, сложном не по запутанности, а по внешней простоте и внутренней многослойности переплетенных в тугой узел причин и следствий. Он высказал свое удовлетворение Ирине Андреевне, когда еще до процесса зашел по служебной необходимости, и она поняла его и улыбнулась, хотя о самом Скулове они не обмолвились ни единым словом. А выходя из суда, встретил народную заседательницу Лиду Егоркину, которую знал не столько по совместным процессам, сколько как знакомую жены, много лет проработавшую в ее бригаде на ткацкой. Лида была озабочена и, наспех справившись о Белле, оттеснила его в угол.

– Дело проигрышное, и зазря вы в него ввязались, права Белла.

– А я, представьте себе, напротив, считаю, что все отлично.

– А я знаю, что говорю, – недовольно зашептала Егоркина. – Вы святой какой-то, ей-богу. На земле живем, а на земле чего только не бывает. Ураганы, потопа, наводнения и даже землетрясения, поняли меня? Ничего больше не скажу, но сделайте вывод. Белле привет.

Ушла, а он призадумался. И всю дорогу думал, и дома думал, потому что знал, что Лида Егоркина в прогнозах ошибается редко. И на всякий случай испросил разрешения вести дело вдвоем с бывшим стажером, и суд удовлетворил его просьбу в порядке исключения по состоянию здоровья.

## Лида Егоркина

Лида Егоркина родилась под победные салюты сорок пятого и во все верила. В тосты и передовицы, в телевизор и справедливость, в надгробные признания и в слова вообще. Она свято была убеждена, что слова сами по себе имеют ценность, некую таинственную силу, не зависящую от того, кто говорит, где говорит, кому говорит и почему говорит.

– Я никогда не читала и не слыхала о научных трудах этого так называемого ученого, но я твердо убеждена, что его бесталанная клевета несовместима с высоким званием нашего научного деятеля.

Или:

– Я, к счастью, не знакома с этим называющим себя комсомольцем, но я твердо убеждена, что он не имел права бросать жену.

Или:

– Я не смотрела этого фильма и не собираюсь его смотреть, но думаю, что выражаю мнение очень многих женщин, категорически требуя запрещения показа подобных картин.

Лида могла вечером проклинать то, чему утром поклонялась, не потому, что была подла и коварна, а потому, что была искренна. Она никогда никого не обманывала, глядела на мир широко раскрытыми честными глазами, и ее очень ценило начальство. Но за помощью к ней обращались неохотно, ибо она, охотно оказывая ее, не щадила себя для других, но и не щадила других ради общества.

– Все мужики – свиньи, а бабы – кошки, – утверждала Егоркина не со зла и не в обиду, а с присущей ей прямолинейной честностью, когда вопрос касался любви без штампа в паспорте.

Подобная категоричность основывалась на личном опыте. В двадцать Лида влюбилась, с восторгом обнаружив, что способна терять голову как всякая нормальная женщина. Но в итоге торжествовать случилось не ей, поскольку объект ее любви не терял времени, когда она теряла голову, вследствие чего довольно быстро потерял к ней всякий интерес. Лида отрыдалась и ринулась за помощью в комсомольские и общественные инстанции. А там первым делом спросили документ. Такого не оказалось, объект вернуть не удалось, но Лида Егоркина вынесла из этого испытания железное правило: с документом бросать нельзя. Для себя она тоже не делала более никаких послаблений, отныне твердо настаивая на штампе в паспорте задолго до потери головы. Однако ставить штамп на таких условиях никто не рвался, количество мужчин вокруг неизменно сокращалось, и Лида осталась практически одинокой, не достигнув тридцатилетия, неуклонно демонстрируя гордое превосходство духа над плотью и не замечая, как иссушается и черствеет ее собственная душа.

Не столько утратив возможность устройства личной жизни, сколько добровольно отказавшись от нее, Егоркина компенсировала образовавшийся вакуум делами общественными, окунувшись в них с той страстью, которую надо же было как-то истратить. Она первой рвалась в колхоз и на субботники, в шефскую поездку и на собрания, в очередную кампанию и на текущую общественную работу. Делала она все горячо и самозабвенно и вскоре стала известной и незаменимой.

Скулова Лида возненавидела, еще не ведая, что окажется в составе суда, еще загодя, еще не вникая в подробности, причины и детали. Во-первых, он был не просто убийцей, а убийцей молодого человека, комсомольца, допризывника, что придавало его и без того тяжкой вине свинцовую окраску социального преступления. Во-вторых, он был частновладельцем, то есть представителем какого-то полузаконного-полулегального и заведомо антиобщественного сектора нашей жизни. В-третьих, частник нагло бросил законную жену с двумя детьми; правда, он аккуратно платил алименты, что признавала честная натура Егоркиной, но сам факт бросания

отнюдь не способствовал украшению его личности. И наконец, неверный муж и подлый отец открыто жил с любовницей. Все это вместе делало фигуру Антона Скулова заведомо грешной, мрачной и антиобщественной.

А вот адвоката Егоркина любила. Он был для нее не только борцом против неправды, не только законным супругом Беллы, с которой Лида до сей поры сохраняла почти дочерние отношения, – он был безвинной жертвой каприза. С привычным максимализмом переложив все черное на сына, Лида оставила на долю стариков лишь ослепительно белый мертвый цвет. Она регулярно навещала Беллу, доставала лекарства и продукты и каждую субботу мыла у них полы, несмотря на сердитые протесты адвоката. И очень боялась за него, понимая, что любая неприятность может обернуться не уходом на пенсию, а вторым инфарктом.

Узнав, что адвокат взял дело Скулова, Лида ринулась упреждать возможные осложнения. В бесхитростности ее ни у кого сомнений не возникало, и многие пользовались этим, чтобы Лидиными устами и с Лидиным пафосом передать то, что считали нужным. И на сей раз доброжелатели заранее предупреждали старого адвоката, что процесс предрешен, и нечего ему трепать нервы по этому поводу.

Так говорил и так считал весь город.

А Скулов сидел себе в своей одиночке, качался и вспоминал об Ане. Только об Ане, будто она была жива и ждала его там, за решетками.

## Аня

Я умерла, меня нет на этой земле, но голос мой еще звучит в душах тех, кто знал и любил меня, а это значит, что какая-то моя частичка еще живет среди вас и будет жить, пока мой голос не заглохнет в памяти знавших и любивших. И еще это значит, что я существую в их душах, говорю с ними, спорю или соглашаюсь, и они советуются со мной. А я ничего не могу им рассказать, кроме того, что было, кроме прошлого, потому что у голоса – того единственного, что осталось от меня на земле, – нет ни настоящего, ни будущего, а есть только прошлое. И я буду говорить о прошлом.

Тоша очень меня любил. Не знаю, за что, не знаю, как это случилось, а помню, что сначала я не понимала, что он меня любит, и думала, что виноватым себя чувствует, потом – что благодарным, что вроде как рассчитаться хочет, и только постепенно поняла, что я – счастливая, самая, наверно, счастливая из всех женщин, что только есть: меня любят. Не за удовольствия свои, не за то, что детей нарожу, а меня, меня лично: кто из женщин еще такое счастье ощущал? Всегда ведь думаешь: а за что? За так просто никому ведь из девчонок не верится. Хочется, конечно, чтоб «за так просто любил», и – не верится, и каждая прикидывает, что у него на уме, если он о любви заговорил. Разве не правда?

А может, я ошибаюсь? Мне ведь сначала так не повезло, что и вспоминать не хочется. Я в семнадцать курсы кончила и сначала работала в госпитале, а потом попросилась на фронт. Просьбу мою уважили и направили в часть, что стояла на формировке. Я туда в платице приехала, потому что в госпитале вольнонаемной числилась. Приехать-то приехала, а где моя часть, никто не говорит, потому что я – девчонка в гражданском. Все-таки нашла, у ворот какого-то сержанта встретила, он документы потребовал, расспросил и говорит: «Надо форму получить. Идем на склад». Привел в какой-то подвал, где было много шинелей, и... А потом сказал, что это – совершенно секретная часть и что если узнают, что я тут была, то меня сразу арестуют, и выгнал меня через дырку в заборе. А я молчала все время, я испугалась, так испугалась, что разделась сама, когда он велел. Там, в подвале...

Ну да ладно, не умерла ведь, не избили, не заболела – и хватит об этом.

Вот так я без всякой любви и вздохов узнала, чего хочет мужчина от женщины. И будто отрезало мне чувства, будто не девчонка я: ни с кем не могла не то что поцеловаться – обнять себя позволить не могла. И я, наверно, единственной санитаркой была, у которой ни романа, ни дружка, ни женишка – ну, никого не бы ло. Но каждый раз ведь не отобьешься, правда? Вот я и придумала, что у меня жених в госпитале лежит, и что о нем сам командир полка в курсе, и что как только он поправится, так его сразу же сюда и направят. Вот в это верили, и меня очень все уважали и берегли даже до смешного: ефрейтор один из пополнения как-то рукам волю дал, а я заорала, и ему ребята так рожу почистили, что его снова в санбат отправлять пришлось.

А Тошу Скулова я тогда совсем не знала. Он ведь уже капитаном был и командиром батальона, правда, не нашего, а второго, и мы с ним как бы на разных этажах обитали. До шестого марта сорок пятого, до того проклятого боя, когда фашисты атаковали севернее озера Балатон. Из-под танков-то я его вытащила – на позициях батальона танки уже были, а капитан Скулов и на шаг не отступил. Вот. Да, так из-под танков, значит, я его выволокла, в лесок оттащила – одни стволы торчат, помню, одни стволы без сучьев, а дальше не помню. Помню, что бой кругом, но через лесок танки не шли, а дальше уже он мне рассказывал. Немцы минометами лесок утюжить начали, и я легла на Тошу, чтоб они раненого не добились. Легла и будто провалилась, даже боли не почувствовала, и очнулась-то уже после первичной обработки в поезде. Вся в бинтах очнулась...

Ох, сколько же их было, госпиталей, поездов да операций! Я в шинели тогда была, дура, шинель пожалела: пропадет, думаю, а мне только-только ее по фигурке подогнали. Вот и полезла в шинели, а шинель – в меня вместе с осколками, и оказалась я вся набита сукном да железом. И это все гнило во мне, приходилось чистить, подрезать да вырезать да заново штопать. Я сперва в Москве лежала, пока из меня не вырезали все, а тогда уж в Сызрань на долечивание отправили: был там специальный госпиталь для женщин-калек, и второго мая – наши Берлин взяли, помню, – я туда и прибыла.

Тут надо сказать, что одна я осталась. Родные все в оккупации погибли, брат без вести пропал, и я на фронте только от раненых да от подружек письма получала. И в госпитале то же самое: даже плакала, так обидно мне было, ей-богу. Всем письма идут, записки, посылки, а я одна-одинешенька, лежи да слезу роняй.

И вдруг... Нет, это ведь не объяснишь, не расскажешь, что это вдруг означает!.. Вдруг приносит мне нянечка посылочку и записку. В посылке, как сейчас помню, клубника была – только пошла, первая самая! – шоколад американский, галеты немецкие и семь кусочков сахара. А в записке сказано, что долго, мол, искал, насилиу нашел и теперь уж не потеряет. Что ждать меня будет, что навещать каждый день будет, что готов всю жизнь на меня положить, какая осталась, но то не ему одному решать, а мне одной, потому что если есть у меня любимый человек, то он все понимает и просит, чтоб только помогать позволила. А подписано было так: «Командир 2-го батальона 436 сп капитан Скулов Антон, которому ты жизнь спасла 6.03 сорок пятого года в лесу тридцать семь километров севернее озера Балатон. Дождь еще с утра шел, помнишь?»

Всю ночь я тогда не спала и все вспоминала, кто он такой, капитан Скулов? Шестое марта помнила, дождь помнила, танковый прорыв, атаку, бой без перерыва, без передыху бой, ад какой-то – и то помнила. И что я в том бою восьмерым, что ли, помощь оказала, а какой из них капитаном Скуловым оказался – вот это я никак не могла вспомнить. И когда назавтра он опять пришел, так и написала: не помню, мол, и не ошибаетесь ли вы насчет меня, товарищ капитан? А он ответил, что восьмым был. Последним.

Вот так и началось, и ходил он каждый день и записки через санитарок передавал, и я ему отвечала, а сама и представить не могла, какой же он из себя, и подумать боялась, какая я. Ну что ноги у него нет, это я знала, это он в подробностях описал, но мужчина без ноги это ведь совсем ничего. Разве не правда?

Это я потом узнала, что он на вокзале жил, ночным сторожем работал, подрабатывал где мог, на себе экономил, ел через день, чтобы мне – клубнику с базара. Потом уж, а тогда ничего не знала, ничего не понимала и в собственное счастье не верила, долго не верила, очень боялась верить. А потом поверила и такая счастливая была, такая счастливая...

Пока не выписали. Вывела меня нянечка в вестибюль, а у меня и одежды-то никакой, в халате вышла. Стоим, никто на нас не смотрит, а я вижу – офицер демобилизованный на протезе с палочкой, и знаю, что он это, Скулов, который мужем моим себя считал с моего на то счастливого разрешения. И когда он понял, что я – это я, Аня Ефремова, он ко мне бросился и палочку уронил. Схватил за руки, говорил что-то, руки тряс, а я обмерла. Обмерла, и все во мне погубло, перевернулось все.

Подвал вспомнила...

И ужас такой перед ночами во мне поднимался, что думала, не пересилю. Не пересилю, не отблагодарю его за доброту, за то, что все он мне отдал, все, что имел. А ему ведь тоже нелегко было: он ведь поначалу не от любви шел, а от ума, от внушения, что обязан мне, я-то чувствовала, женщину не обманешь. Да и что кроме двадцати лет было-то у меня после госпиталя? Вот так и шли друг к другу: я – от ненависти через пропасть, он – от совести через насилие над собой. А как пришли, – не привыкли друг к другу, нет, и не думайте так-то! – как влюбились друг в дружку, парнишка в подружку, так и полной вершины достигли. Мед-

ленно шли, будто ощупью, а как доползли, так все в один миг уложилось, будто прозрели, будто пелена с глаз. Бросились, обнялись, я в голос реву, а он кричит: «Анечка моя, Анечка моя...» Вот когда медовый-то месяц нас нашел: через три года после первой ночи. Долго шли, и пути наши не сравнить никак, потому что он первым пришел, он ждал меня, он быстро влюбился: я это сразу почувствовала, женщину ведь не обманешь.

Да что это я – все про любовь да про чувства. Суду ведь не чувства нужны, а факты. Показания, а не признания.

А факты такие, что Тоша был женат и от законной своей супруги Нинели Павловны имел дочь Майю сорок первого года рождения и сына Виктора сорок четвертого. Не подумайте чего: в начале сорок третьего Тошу второй раз ранило, он после госпиталя отпуск получил, к жене съездил и жил в своей семье целых пять дней, почему и мальчик родился. Но он того мальчика никогда не видел, потому что в марте сорок пятого нас судьба свела, и все он ради меня из души вычеркнул, даже детей. Осуждаете? Осуждайте, ваше полное право.

Ну, а что касается жизни, то мы вскоре от Родионовны ушли. Надолго ее не хватило, опять пить начала, безобразничать, и мы ушли в общежитие кожзавода, на котором Тоша экспедитором устроился. Конечно, комнаты нам не дали, но Сеня – морячок безногий, севастопolec, который меня вместе с Тошей встречал, – Сеня нам бывшую кладовку выпросил в пять квадратных метров без окна. А потом я немного окрепла, в заводскую поликлинику пошла работать. Тоша повышение получил, его в президиумы стали выбирать как хорошего работника и заслуженного фронтовика, и директор нам жилплощадь гарантировал, как двум инвалидам войны. И не случись нечаянной радости, жили бы мы в Сызрани и по сей день, и не было бы ни домика по Заовражной, семнадцать, ни моих цветов, ни Тошиной двустволки. Вот ведь как оно бывает: несчастье мне любовь принесло, вершину жизни, а счастье с той вершины сбросило в пропасть.

Меня разыскал родимый брат Иван. Он младше меня на целых семь лет, и, когда я на курсы уехала, он с родителями оставался, а потом, когда немцы наступление повели, бежал, а родители растерялись и погибли под оккупантами. А Ване тогда десять было, бродяжничал он и тоже бы, наверно, погиб, да подобрала его очень хорошая женщина Александра Петровна Ковальчук и усыновила: детей у нее не было, а мужа на фронте убили. И вот они нас разыскали, приехали и – уговорили. И оставили мы завод и свою каморку без окон и переехали сюда, на Заовражную, семнадцать. Это теперь – город, а тогда был дачный поселок, и дом принадлежал Александре Петровне. Участок при доме имелся небольшой, но ухоженный: тогда кормились с них, с участков. Александра Петровна на железной дороге работала, Ваня еще в школе учился, никого больше не было, и мы впервые по-человечески зажили. И так этой человеческой жизни обрадовались, так отвыкли от нее, что сразу две ошибки сделали. Первая: Тоша не на завод работать пошел, а механиком гаража, чтоб к дому поближе, а вторая – я. От земли я никак оторваться не могла. Вожусь во дворе от зари до зари и плачу от счастья. И тогда Александра Петровна сказала, чтоб никуда я работать не шла: корми, говорит, нас всех, коли так землю любишь. И я обрадовалась ужасно и все там устроила, на участке, все принарядила, прихорошила и цветов понасажала, где хоть пятак свободной землицы был. И пятак тот все рос, потому что жить мы стали лучше, в огороде особой потребности уже не было, а с цветами я никак не могла остановиться, тем более что всем это нравилось и все меня поддерживали и мне помогали. Так и жили: уж Александра Петровна на пенсию ушла, Ваня в Москве учился, мой Тоша завгаром стал, а я все в земле вожусь. Из земли мы вышли, и тянет она нас сквозь асфальт, бетон и годы...

Ваня так в Москве и остался, в большие люди вышел, за границу ездит. Женился, квартиру получил и к нам только раз приехал – на похороны Александры Петровны, названной матери. Домик по закону к нему перейти должен был, но он оформил дарственную на меня и опять уехал. В Бельгию, что ли. А мы с Тошей стали неожиданно-негаданно владельцами

участка и дома. К тому времени город уж в этот дачный поселок ворвался, кругом дома понастроили, но нашу улицу не тронули, только участки обрезали. И оказались мы в городе, в собственном доме с участочком, на котором грядка умещалась, крыжовник со смородиной и – цветы. Уж такие я цветы к тому времени развела, что даже на выставке в Москве медаль получила. За новый сорт гладиолусов «Александра Петровна». Так он, этот сорт, и в каталоге значится, хотя его долго утверждать не хотели и меня упрашивали, чтобы просто «Александра» назвала, без отчества. Но я настояла, чтобы с отчеством, и очень радовалась, а тут Тоша приходит с работы и говорит, что ему, как коммунисту и фронтовику, предлагают директором рынка и что он уже дал принципиальное согласие, потому что там оклад повыше, а нам дом отремонтировать надо, а денег – одна Тошина зарплата. И я согласилась, и это есть моя самая главная ошибка, из-за которой и начались все наши страдания. И если призовут меня на самый Высший Суд, я скажу, что одна во всем виновата, потому что если женщина любит, то она должна любить за двоих, за троих, за весь мир должна любить и все предвидеть.

Только он как лучше хотел. Он видел, что вся я в этом клочке земли, вся – в цветах да в счастье, а дом скрипит, течет и разваливается, а материалы ой сколько стоят. И пошел на эту должность, а через три года его забрали. Господи, в чем только его не обвиняли, каких только на него грехов не вешали! Но спасибо, адвокат нам достался очень хороший: фронтовик, с головой и с совестью, и все доказал неопровержимо. Тошу освободили, но на рынок не вернули за излишнюю его доверчивость и выговор по партии вынесли. А устроили инженером стадиона – совсем уж работа непонятная, как он говорил, но он очень старался, чтоб выговор сняли, а как сняли, тут же и на пенсию ушел. И стали мы с ним вдвоем цветы выращивать.

Недолго, правда. Сперва нам забор сломали, потом в парничке все стекла камнями вышибли, а позже собаку отравили, Найду мою. Она на руках у меня умерла, а я заболела. Ноги у меня отнялись, и Тоша еще целых полгода со мной мучился.

А потом я умерла. Я уже знала, что умерла, что мертвая я, что рука моя в его ладонях холодеет, а он не знал: мертвые умнее живых. А когда понял, так закричал, что я крик его слышала. Далекий-далекий, будто с того берега:

– Аня!..

## Судья

Муж вернулся поздно, был тих, задумчив, от него пахло вином и еще чем-то – чем именно, Ирина угадывать тогда не решилась, но потом долго помнила: пахло чужими духами, другой женщиной, иным теплом. Она ни о чем не спрашивала и без конца почему-то говорила о своем – о Скулове, о грядущем процессе, а он молчал, хмурил широкие брови и беспрестанно курил на кухне.

– Случилось что-нибудь?

– Что? – Он точно очнулся. – Иди ложись. Поздно уже.

Ночь принадлежит женщине – эту истину не преподносят ни в книгах, ни в школах, но об этом знает любая девчонка. И когда муж, внезапной замкнутости которого немного испугалась Ирина, сказал, чтобы шла спать, она усмотрела в этом знак обещающий. И, надев самую соблазнительную ночную рубашку, долго читала, разметаив по подушкам пышные волосы и прислушиваясь к шагам. А потом как-то незаметно уснула и проснулась оттого, что ощутила взгляд. Открыла глаза, увидела мужа в сером рассвете, потянулась к нему теплыми руками, но заметила, что он в костюме и рубашке с галстуком.

– Почему ты одет как на прием? Сколько времени?

– Подожди. – Он остановил ее руку, которая уже тянулась к выключателю. – Поговорим. Надо поговорить, понимаешь?

– Считаешь, что в темноте разговаривать легче?

Еще ничего не зная, она уже все поняла. О господи, да есть ли создания трусливее мужчин? Почему нельзя объясниться спокойно, трезво, логично? Почему они всегда норовят сбегать в сумерках?

– Что же ты молчишь? Пороху не хватает?

– Извини, я закурю?

Метнулся к светлому прямоугольнику окна, под приоткрытую форточку, закурил, чиркнув зажигалкой. Ирина привычно хотела сказать, чтобы ушел из-под форточки, чтобы побегся. Совсем было рванулись из нее эти слова, но она вовремя опомнилась: не ей принадлежал собственный муж, не ей принадлежало его здоровье и вообще не ее собственность курила под форточкой. И поэтому она сказала не то, что хотела:

– Отвернись, я встану.

В принципе ей было безразлично, отвернется он или нет, и даже (если уж честно) хотелось, чтобы не только не отворачивался – чтобы глаза пялил. Но слово «отвернись» для женщины означает не физическое действие, а психологическое отрицание, качественный сдвиг отношений. А он и вправду отвернулся, и это окончательно убедило ее, что чемоданы его сложены. И, вспоминая совсем недавнее и внутренне нервно усмехаясь от этих воспоминаний, Ирина не ограничилась наброшенным халатиком, а оделась основательно, неторопливо все натянув, застегнув и приладив. А потом достала из шкафа деловой костюм, в котором появлялась только на процессах, надела его, запахнула теплую постель и зажгла полный свет.

– Можешь обернуться.

Одевалась она, все время думая, что подобная ситуация уже была однажды: четыре года назад. Были сумерки – только не утренние, а вечерние, – были два заранее собранных чемодана, был тот же аккуратный мужчина при галстуке, и только женщина была другой. Женщина была смятой, растерянной, жалкой: у нее вдруг так некрасиво и так некстати заболел живот, и он – такой весь «при галстуке» – рассказывал об этом ей, Ирине. Кажется, они даже смеялись оба: какая мерзость... И вот теперь настал ее черед: «Мне отмщение, и аз воздам» – эпиграф к «Анне Карениной», но откуда взяты слова? «Мне отмщение, и аз воздам» – точно, воздал.

Тьфу, какая мерзость: неужели они смеялись над чужим горем?.. Так. Теперь запахнуть постель с теплыми вмятинами тела и зажечь полный свет.

– Можешь обернуться.

Повернулся, даже в глаза глянул – правда, ненадолго. Но с духом собрался и так боялся, что мало его, духу-то этого, что вот-вот уйдет он, исчезнет, растворится без остатка, что сам начал говорить. Торопливо и уже не ожидая навоящих вопросов.

– Ира, ты умная, современная, прекрасная женщина. Я убежден, что ты все поймешь. Чувства не поддаются статьям и параграфам, они живые. Они рождаются, живут и умирают, это естественный процесс, и ты, как человек образованный, это понимаешь и... Это диалектика души, это ее поиск, высшее требование к себе самому. Честность. Нечестность. Справедливость. Несправедливость...

Журчал голос. Уже не в комнате журчал, а, казалось, где-то вне, в ином измерении, а потому и воспринимался отчужденно. И хотя Ирине было нестерпимо обидно, больно и горько, она не плакала, не спорила, не умоляла – она думала, механически продолжая слушать журчание почти неузнаваемого, почти уже чужого голоса.

Что же такое – любовь мужчины? Переход из одной теплой постели в другую, столь же теплую? А любовь женщины? Увлечь, заманить, затащить, превратить лихого кочевника в оседлую рабочую скотинку? Значит, все основано на голом зверином инстинкте: брать, хватать, покорять, подчинять? Не отдавать, а брать, не жертвовать собой, а жертвовать той, третьей? А потом, когда пройдет первая боль, она вспомнит о справедливости, непременно, обязательно вспомнит. Почему же мы вспоминаем о справедливости тогда, когда нам больно? Не тогда, когда мы причиняем боль, а когда нам причиняют боль... Стоп, стоп, ты – судья, ты заговорила о справедливости. Это важно, это почему-то очень важно, не теряй нить...

– ...И мы подходим друг к другу. Ты извини, что я об этом, но мне необходимо, чтобы ты поняла...

«Подходим друг к другу», он сказал? Любопытно: не «подходим друг другу», а «подходим друг к другу». Как ключ к замку, как кофта к юбке, как вещи, механизмы, детали, а не людские души: те – подходят друг другу. Подходят – значит, дополняют друг друга, помогают друг другу, поддерживают, радуют друг друга. Вероятно, это и есть любовь. Очень просто: друг другу, без всякого «к». Отдавать друг другу.

Не брать, а отдавать. И радоваться, и быть счастливой оттого, что отдаешь... И все это – мимо, мимо, а достаются одни бездушные автоматы, деловито подбирающие друг к другу отмычки. Подбирающие пару до комплектности, что ли: сравнение, может быть, и не совсем удачное, но оно точно передает этот смысл, который ныне вкладывают в понятие «любовь»...

– ...Совсем не потому я решился на этот шаг, что Наташа... Извини, она еще студентка, и нам будет невероятно трудно жить, особенно когда родится ребенок...

– Что? Ты успел обзавестись ребенком от собственной студентки? Так вот чего ты боишься: карьера рискует треснуть? А когда лез в постель к девчонке, не боялся? И совесть помалкивала? А теперь вдруг заговорила?

Господи, куда ее понесло? Обвинять, выяснять, срываться на крик – как все пошло. И как противно: увлечь свою же студентку, заморочить ей голову. А потом – животик: девочка оказалась дурой. Или – совсем не дурой. И товарищ доцент, кандидат наук затрясся, как нашкочивший мальчишка.

– Ты собрал свои вещи? Ничего не забыл? Ключи на стол и выкатывайся.

– Но я бы хотел, Ира, чтобы наши отношения...

– У нас нет более никаких отношений. Ключи на стол.

– Ира...

– Убирайся вон!..

Хлопнула дверь, и она разрыдалась. От боли, от обиды, от унижения, от одиночества, наступившего с этой минуты. «Ничего, ничего, – твердила она себе. – Женщины плачут во спасение собственных нервов, только и всего. Это – разрядка, снятие стрессовых напряжений, переключение эмоций, как у детей. И я плачу сейчас, как девочка, которая вдруг обнаружила, что ее любимая кукла – всего-навсего тряпка, набитая опилками...» Она изо всех сил старалась не думать о наступающем одиночестве, о пустоте в доме и пустоте в сердце; она любила мужа, но сейчас, в это первое утро его ухода, почему-то ни разу не вспомнила о любви. Может быть, это происходило помимо ее сознания, может быть, некий спасительный механизм не позволял ей сосредоточиваться на потере, потому что именно сегодня ей предстоял громкий процесс, о котором давно и много говорили в городе. И она старательно стала думать о другом, внутренне прекрасно осознавая, что то, связанное с мужем, с ее любовью, с милыми хлопотами, привычкой кормить завтраком и ужином, – то, что так определяло всю ее женскую жизнь, не забыто, не отринуто, а лишь отложено до поры. До того времени, когда она, перестав принадлежать обществу, станет вновь принадлежать себе, вновь, как оборотень, превратившись в женщину, способную выть, рвать на себе волосы и кататься по полу от потери, которую ничем уже не восполнишь.

Значит, так. О любви думать не будем: ее нет и не может быть. Она существует лишь в книгах, песнях, театре, кино, но в нормальной, обыденной жизни абсурдна сама мысль о ее возможности. Есть тела, созданные природой так, чтобы они подходили друг к другу. Либо – не подходили... Стоп, думать надо не об этом, совсем не об этом. Что-то ведь мелькало, что-то очень важное, что следовало не забыть, чтобы додумать... Спокойно, Ирка, спокойно, тебе – тридцать пять, и твой поезд ушел. Только что, кстати, ушел, еще и дым от него не рассеялся, еще чуть слоится по комнате... Хватит!

Ирина решительно встала, сняла деловой костюм, аккуратно повесила его, разделась и прошла в ванную. Долго стояла под сильным душем, делая его то нестерпимо горячим, то нестерпимо холодным. Потом завернулась в банную простыню, вернулась в комнату и села в кресло, отдыхая. Отдохнув, неторопливо оделась, прошла на кухню и долго стояла в растерянности, обнаружив, что ей совсем не хочется ничего готовить. Наспех сварила кофе и потащила с ним в комнату, может быть, потому, что с мужем они всегда завтракали на кухне.

«Да, справедливость! – неожиданно вспомнилось ей. – Справедливость и несправедливость – Сцилла и Харибда человеческого бытия». Это почему-то хотелось не забывать: в связи с предстоящим процессом, что ли? Справедливость и несправедливость. Что же именно следует помнить при этом?

Получается, что мы начинаем взывать к справедливости, ощутив собственную боль. Вот тогда мы вспоминаем, что справедливость должна существовать, что справедливость гарантирована государственными законами и, следовательно, обязана поддерживать меня в минуту трудную. Существует такая форма обращения к справедливости? Безусловно: это – справедливость эгоизма. Не личная справедливость, а эгоистическая: она ведь может оказаться и не личной, она может представлять каких-то людей, какие-то группы заинтересованных лиц, даже слои населения, и все равно оставаться эгоистической в сути своей. Ибо она есть антипод справедливости человеческой, всеобщей, присущей абсолютному большинству.

Господи, кажется, что заново открываются Америки, а всего-то бабу обидели. «Женщина плачет, муж ушел к другой...» Нет, нет, дело не в том, что тебе дали по носу, а в том, чтобы оградить людей от зла несправедливости, не позволить этому злу торжествовать. Нет, опять запуталась: это же и есть функция суда. Люди создали институт суда для того, чтобы он – и только он! – решал, что справедливо, а что несправедливо для данного конкретного случая... «Но я же о другом, совсем о другом, но о чем же, о чем? О том, что суд призван нести высшую справедливость, а это предусматривает прежде всего его авторитет. Авторитет суда – основа

веры в его непогрешимость и, следовательно, в справедливость вообще... Кажется, я додумалась до смелого утверждения, что лошади едят овес и сено.

И все эти размышления только из-за того, что муж ушел к другой? – Ирина невесело усмехнулась. – Смешно, но это так и есть. Если бы мы только представить могли, насколько сложен жизненный путь каждого, насколько перепутаны наши отношения с миром, с себе подобными, с обществом, его учреждениями и институтами, с семьей, основанной не только на любви, но и на законах человеческого общения, а закон есть идеальная формула справедливости. Так плетется сеть, многоосевая система координат, в которой существует человеческая личность, и если нарушить равновесность этих координат... К чему это я? Ах да, когда-то хотела написать статью об этом, но отговорили: сор из избы. Хорошая хозяйка выметает сор из избы, а не прячет его под ковром... Любопытно, что больше всех тогда отговаривал муж. То есть бывший муж, ныне ушедший с двумя чемоданами. Он – большой специалист в вопросах, что можно, а чего нельзя, он всю жизнь провел между этими пограничными понятиями, всю жизнь нарушал их демаркационные линии и всю жизнь страшно боялся этих нарушений: он и сегодня удрал не от любви, а от страха... От страха – вот любопытный аспект нашего общественного поведения: мы куда чаще совершаем поступки не из любви к ближнему, а из страха перед обществом. Своеобразное антирыцарство, расцветшее в двадцатом веке, суть которого элементарна, как ругательство: наказание стало неизмеримо страшнее преступления. Настолько страшнее, что мы очень многие преступления как бы изъяли из восприятия: они заменены страхом и сами по себе без страха наказания уже как бы и не существуют. Ну, например, можно обмануть девчонку, и если сошло с рук, это не порок, это – доблесть, ею бравируют. Можно стянуть с завода моток провода: не поймали, значит, это просто практичность. Можно ударить ребенка, изругать последними словами женщину, сбить с ног старика – это не преступления, если не схватили за руку. Господи, как же велик он, этот страшный перечень того, что наш повседневный быт уже перестал считать преступлением! А ведь еще совсем недавно считал, и мы знаем, что считал, тому есть масса доказательств. Еще до войны, например, многие предприятия не имели охраны, а ведь никому не приходило в голову таскать дрожжи, пряжу или лекарства. Что же случилось с нами? А ничего, просто муж ушел к другой...»

Ирина усмехнулась: господа, опять – муж. Странно все же устроена пресловутая женская логика: она узорна, в отличие от прямолинейной логики мужчин. Она плетет вязь из тысяч нитей, три четверти которых давно бы отбросил привыкший все упрощать сильный пол. Но ведь сколько раз именно многоконцовая вязь женской логики оказывалась куда содержательнее искусственно упрощенной логики мужчин. И в данном случае то, что муж ушел к другой, вылилось в ткань рассуждений отнюдь не от обиды: ведь все с чего-то начинается и чем-то заканчивается. Все имеет свои начала и свои концы.

Давно известно, что невозможно заставить человека совершить преступление под гипнозом. Человека можно привести в сомнамбулическое состояние, но в тот миг, когда будет отдан приказ совершить нечто противозаконное, гипноз перестанет действовать. Это проверено многократно, и вывод звучит аксиомой: границы нарушения закона определяются нравственным багажом личности. Не знанием Уголовного кодекса – профессиональные преступники знают УК не хуже любого юриста! – а необъяснимым, невидимым, но так легко ощущаемым порогом нравственности. И поэтому то, что муж ушел к другой, имеет самое непосредственное отношение к вопросам преступления и наказания. Все начинается с первого шага – и путь на Джомолунгму, и дорога на эшафот. Например, у этого... да, у Скулова тоже был когда-то первый шаг.

Кстати, пора в суд. Пора прятать личное, теплое, женское под строгим деловым костюмом: сегодня Ирина Андреевна Голубова судит убийцу.

## Суд

– ...Признаете себя виновным в...

– Признаю.

Даже стандартную формулировку договорить не дал: так ему тяготно было, так хотелось поскорее в камеру, от людей подальше. Эх, дали бы Скулову такое право: признаться, попросить самого тягчайшего наказания – и всё, кто по домам, кто по камерам. Судья, например, – молоденькая, но что-то уж слишком на себя суровость напускающая – от радости, что отпустили, поди, вприпрыжку бы домой помчалась, к мужу и к деткам. Да и все бы обрадовались, кроме разве что публики. Эти ведь зрелища жаждут, подробностей, последних слов и предсмертных хрипов.

Кого-то вызывают, кто-то встает, кто-то плачет, говорят какие-то слова, читают какие-то списки. Зачем все это? Зачем же столько времени, столько процедур тягостных, люди? Что тут разбирать, что проверять, что уточнять, когда все давным-давно ясно. Ну убил, не отрицает же этого Скулов? Нет, не отрицает, все точно, еще хоть двадцать раз готов подписать.

– Ничего не имею. Ни отводов, ни вопросов, ни пожеланий.

Плохо, что всякий раз вставать приходится. Как отвечать, так и вставать, а нога болит. Не эта, здоровая, а та, которой нет. Которая в Венгрии осталась, в сапоге и в шерстяном носке: он портянку перед боем накрутить не успел, больно уж быстро все произошло. Вот и валяется она без портянки в тридцати семи километрах севернее озера Балатон, а мозжит здесь, проклятая. Видать, потому, что без портянки...

Скулов поудобнее, половчее пристроил свой обрубок и огляделся, но никого в переполненном зале не увидел. Ни одного лица в отдельности, а просто – лица. Лица, лица, лица...

Ну, теперь фотографии затеяли разглядывать. Видал их Скулов, объяснял следователю, что помнил: где стоял, когда именно ружье схватил, кто куда прыгал да кто куда падал. Хватит уж, посмотрелся. А они – смотрят, обсуждают, спорят чего-то, а про него пока забыли, и то ладно. Уши, жалко, не заткнешь, а глаза закрыть можно.

Он закрыл глаза, на мгновение всполохи увидел и подумал: «Трассирующими бьют...» И тут Аня все заслонила, заулыбалась ему, заулыбалась...

Очнулся вдруг:

– ...в присутствии гражданки Коробовой Ольги Сергеевны, а также граждан Трайнина Игоря Александровича, Самохи Виктора Ивановича и Русакова Дениса Радиевича выстрелом из охотничьего ружья...

Какая там еще Ольга Коробова? Вот эта, молоденькая? Не было ее там, ей-ей, не было, и следователь о ней ничего не спрашивал. А она, оказывается, свидетель...

– Где вы стояли, свидетельница?

– На дороге.

– Одна?

– Нет. С Игорьком... То есть с Трайниным.

– Расскажите по порядку, как было дело. Что вы видели, что слышали.

– Ну мы от Русаковых возвращались, часов одиннадцать вечера, что ли, было. Я впереди шла с Игорьком... то есть с Трайниным. Тут Эдик догоняет и говорит: хочешь, говорит, я тебе цветы преподнесу? Невиданной, говорит, красоты...

Невиданной красоты. Махровые розовые хризантемы, еще не занесенные ни в какой каталог. Последний сорт, который начала выводить Аня, а заканчивал он. Неумело заканчивал, трудно, но очень старался, очень хотел – и вывел. Невиданной красоты розовые махровые хризантемы. Аня мечтала показать их на выставке в Москве и назвать «Антон». Он тоже хотел показать их и послал заявку: «Розовые махровые хризантемы с изменчивой окраской лепест-

ков от густо-красного в центре соцветия до нежно-розового на концах. Наименование сорта: «Аня». Вот в этом единственном он нарушил ее волю, потому что в центре соцветия были темно-красными, как ее кровь там, тридцать семь километров севернее озера Балатон...

– У меня вопрос. – Адвокат карандаш поднял. – Скажите, свидетельница, вы пили у гражданина Русакова?

– Я рюмки две выпила, не больше.

– Не больше?

– Ну, три, какая разница...

– А мужчины по сколько рюмок выпили?

– Прошу данный вопрос снять, – поспешно вклинился прокурор.

– Суд снимает вопрос. Прошу защиту задавать вопросы, касающиеся свидетельницы непосредственно.

– Извините. – Адвокат улыбнулся почти с торжеством. – Значит, вы находились на дороге вместе со свидетелем Трайниным. И что же вы делали?

– Ну... Ну как то есть что делала?

– Повторяю вопрос. Что вы делали на дороге вместе с Трайниным, когда остались одни?

– Ну, это. Целовались, что же еще?

По замершему залу прошелестел шумок. Где-то глупо захихикали девчонки, но сразу же смущенно примолкли.

– А потерпевший Эдуард Вешнев любил вас? – выдержав паузу, негромко спросил адвокат.

– Эдик-то? – Ольга Коробова шмыгнула носом, но от слез удержалась. – Ну, говорил. Даже письмо такое прислал.

– Значит, любил вас Вешнев, а целовались вы с Трайниным, – как бы в задумчивости повторил адвокат. – А где был в это время потерпевший?

– Как где? – неприязненно переспросила свидетельница. – За цветами полез, говорила уже.

– Конкретнее, пожалуйста. Вы видели его?

– Видела. И слышала. Они... Ну, это, сам Эдик, значит, и Самоха с Дениской колючую проволоку рвали.

– Вопрос! – тотчас же ворвался прокурор. – Какую колючую проволоку?

– Которая поверх забора натянута была, чтоб никто перелазить не мог. Эдик полез, да напоролся и ругаться стал. Сидит на заборе и ругается, а остальные...

Все точно: сидел на заборе и крыл во всю глотку матом, а под забором, выходит, стояла его любимая, которую Скулов и не видел, но ради которой этот... потерпевший, так, что ли?.. и полез за цветами. Будущего сорта «Аня»... Нет, не будет, никогда уже не будет такого сорта. Как это пелось – Аня еще этот романс любила – «Отцвели уж давно хризантемы в саду...».

– Сидел на заборе и нецензурно выражался?

Вопрос был задан незнакомым хриплым, даже каким-то угрюмым голосом, и Скулов вынырнул из своего блиндажа: из воспоминаний. И с некоторым интересом поглядел на обладателя этого недружелюбного голоса: коренастый мужик в тесноватом немодном костюме лет под пятьдесят. Лицо крупное, тяжелое, малоподвижное: второй заседатель. А вопрос, оказывается, задан уже не девчонке: на ее месте перед судом стоит молодой парень.

– Что значит цензурно или нецензурно? Эдик руку раскровенил о колючку, которую этот кулак...

– Замолчите, Трайнин! – Ого, каким металлом прозвенел голос судьи! – Отвечайте только на вопросы.

Не слышал я никакого мата, вот и все.

Не слышал, значит. Крик такой стоял, что у соседей во всех окнах свет со страху зажгли, а он – не слышал. Хотя, может, и вправду не слышал: он ведь целовался тогда. С той девчонкой. Скулов неожиданно улыбнулся: что ж, это вполне даже может быть.

Когда любишь, это нормально. Нормально...

Он не слушал, даже старался не слушать, что там происходило в суде, что говорили, что спрашивали, что отвечали. Он воспринимал процесс как необходимую, но очень неприятную процедуру, в результате которой определится его судьба, но поскольку собственная судьба Скулова совершенно не интересовала, то его не интересовал и суд. И не просто не интересовал, а раздражал публичностью, выворачиванием наизнанку, дотошностью и мелочным копанием. Менялись свидетели, не умолкая, звучали голоса: вопросы – ответы, ответы – вопросы. И так до бесконечности, до глухого раздражения, до звенящей, как струна, мечты: скорей бы уж! Скорее бы уж кончилось все, скорее снова в камеру на знакомый табурет, чтобы качаться на нем и, качаясь, плыть в счастливую даль: к Ане. Вспоминать о ней, видеть ее, слышать, осязать, обонять, чувствовать всю и в целом, и по мелочам, и главное, может быть, именно по мелочам, потому что сам человек забывает те мелочи, которые творит на каждом шагу, а другие помнят. И Скулову всегда казалось, что, вспоминая мелочи, он как бы подсказывает Ане о них, а она – радуется. И улыбается ему, как всегда: глаза в глаза, не моргая.

И тут вспомнилось ему, как они однажды ходили в театр. Давно, правда: тогда еще в их городе театра не было, а был Дворец культуры при фабрике, и в этот Дворец приехал самый настоящий театр, из Москвы. Кажется, по Чехову Антону Павловичу постановку давал, «Три сестры», что ли, и уж очень Ане пойти хотелось. Трудно было с билетами, но он все же достал, как инвалид войны. И Аня очень радовалась, неделю к этому культпоходу готовилась и даже в парикмахерской прическу сделала. А еще надела новое платье – синее у нее такое платье было, с белым воротничком – и новые туфли на шпильках: тогда шпильки носили, и ей Ваня из Москвы туфли в подарок прислал, а она их ни разу не надевала. А куда наденешь-то на Заовражной? А тут – надела, и они пошли. За час пришли, еще не пускали никого. Потом пустили, и они долго гуляли в фойе, и Аня такая счастливая была, так ей все нравилось, что задержались они на какой-то выставке «Наша продукция»: ткани разглядывали. В зал вошли перед самым началом и протискивались на свои места уже в темноте да через людей, бочком протискивались. Ну, посмотрели, хорошая была постановка, а в антракте он глянул: Аня в слезах. «Ты чего?» – «Переживаю, – говорит, – иди в буфет, пива выпей, а я тут посижу». Пошел Скулов в буфет, пива выпил, вернулся, опять постановку смотрели. Потом конец, свет за жгли, захлопали артистам, вставать с мест начали. А Аня сидит. Улыбается, хлопает, и слезы уж высохли. Уж публика почти разошлась, а она знай себе в ладоши бьет. А потом покраснела и шепчет: «Ой, Тоша, да я же каблук сломала, как в темноте на места протискивались...» Он так широко и так некстати заулыбался, вспомнив об этом, что в суде кто-то примолк в изумлении. А конвойный шепнул сердито:

– А ну прекрати! Не в театре, понимаешь. В зал вон погляди, на людей.

Несколько раз мельком глянув, Скулов избегал смотреть в зал, поняв, что зал все время разглядывает его. Изучает, какой он, как сидит, встает, как ведет себя, как реагирует на свидетелей, что думает при этом и что отвечает. Это постоянное липкое наблюдение мучительно ощущалось им: он все время ловил себя на том, что стремится пригнуться, спрятаться, уйти за барьер, которым была отгорожена его скамья, и это угнетало его. Но порой – не из любопытства, нет! – он не выдерживал и текучим, невидящим взором проходил по рядам, не замечая людей, не фиксируя лиц. И во время этого обзора, этой усталой панорамы всегда ощущал, будто наталкивается глазами на некую преграду. Он не понимал, что это за преграда, не видел ее, да и не стремился увидеть, но когда столкновения приобрели некую закономерность, когда он понял, что преграда существует в действительности, а не в воображении, он – еще не всмот-

ревшись, не увидев еще! – сообразил вдруг: они. Его супруга Нинель Павловна, дочь Майя и сын Виктор.

Открытие было сродни озарению: он даже привстал, чтобы разглядеть, и конвоир тут же предупреждающе положил руку на его плечо. Скулов сел, но продолжал уже не вскользь, а осмысленно, ищуще рассматривать публику. И наконец увидел полную женщину в темном платке на седой голове, а по обе стороны – мужчину и женщину. И не узнал, а просто понял, что это и есть его законная жена Нинель, но никак не мог понять, что по обе стороны ее сидят его дети: они казались слишком взрослыми, чтобы быть детьми. Но это были они, теперь он уже не сомневался, что это – они, и глядел. И они тоже глядели на него: сын – изредка и колюче, дочь – подольше, но с укором, а жена – все время, не отрываясь и как-то странно, словно сожалея, скорбя словно: даже платочек к глазам поднимала. И Скулов не мог понять, зачем все это: ведь игра же все, ведь забыла уж, как он выглядит, так зачем же скорбь с платочком демонстрировать? Зачем? И, не поняв, расстроился и твердо решил не смотреть больше в их сторону, хотя очень хотелось смотреть.

– ...Давно знаете подсудимого, свидетель Ковальчук?

– С тысяча девятьсот пятидесятого года.

Какой еще там Ковальчук знает его с пятидесятого? Скулов глянул: Ваня. Ваня, Ванька, Ванечка, родной брат Ани, Иван Свиридович, а Ковальчук потому, что Александра Петровна его усыновила по закону и свою фамилию дала. Ах ты, родной ты мой, братик ты мой... Слезами застлало глаза, Скулов долго утирал их и – слушал.

– ...Знаю Антона Филимоновича как исключительно порядочного, честного человека, коммуниста, фронтовика, труженика...

Ах, Ванечка, Ванечка, спасибо тебе, родной. Из самой Москвы приехал, времени не пожалел, чтобы здесь, на суде этом, хоть раз доброе слово прозвучало. И по гроб жизни Скулов тебе благодарен за это и низко кланяется.

– Очень хорошо, но это не имеет прямого отношения к делу, – недовольно сказал прокурор. – Я задал вопрос: увлекался ли Скулов охотой?

– Разумеется, нет. Скулов потерял на фронте ногу, какая уж тут охота?

– А зачем он вступил в общество охотников и рыболовов?

– Не могу знать, – сокрушенно вздохнул Иван Свиридович. – Это произошло после моего отъезда.

– А вам не кажется, что Скулов вступил в это общество с единственной целью: получить право на приобретение и хранение огнестрельного оружия и патронов к нему? Вы знали, что у Скулова имеется охотничье ружье?

– Относительно охотничьего ружья я ничего не знаю, – с чуть заметной заминкой произнес свидетель.

Знаешь ты об этом ружье, Ванечка, чего уж греха таить. Приезжал на похороны Александры Петровны – помнится, что из Англии только-только вернулся и много рассказывал об Англии этой. А слушал мало... Да и что слушать-то было? Как приемная мать Александра Петровна помидала или как им в первый раз забор сломали? Ну, выслушал, посочувствовал, посокрушался, Англию опять вспомнил: «У англичан закон “Мой дом – моя крепость” имеет буквальное значение, представляешь, Аня? То есть владелец обладает правом защищать свою собственность вплоть до применения оружия в ее границах...» А на другой день вдруг достал ружье и патроны к нему.

– Это мама Александра Петровна мне подарила, когда я школу закончил: ружье ей от покойного мужа досталось. Я на антресолях его прятал, в Москве оно мне ни к чему, так что берите в подарок. Зарегистрируй его, дядя Тоша, а если кто снова за цветами полезет, пальни в воздух для острастки.

И уехал. А Скулов не хотел вступать ни в какие общества, а хотел опять это ружье на антресоли определить, да Аня настояла. Не потому, что воров боялась или цветы так уж жалела, а потому, что боялась соседей: заметят, донесут – неприятностей не оберешься. А с соседями неладно жили, что уж там... Это с прежними – душа в душу, а с новыми – вразнотык. Новые у прежних дом купили и впервые к ним с Аней в гости пришли. Ну, думали, познакомиться люди хотят.

– Анечка, собери на стол...

А они – в дверях, шапок не сняв:

– На вашем участке у самого забора береза растет. Так вы ее спилите, потому что она из нашей земли соки тянет. Либо спилите, либо пересадите, что ли, уж будьте любезны.

Спилит Скулов березку, вот так и познакомилась. Кудрявая березка была, стройная – Аня очень ее любила. Но сама же и велела, чтоб спилил, его же покой оберегая...

– ...Значит, вы подтверждаете, что обвиняемый торговал цветами из своего сада по спекулятивной цене?

Так спросил прокурор. Скулов очнулся от воспоминаний: соседка давала показания. Вовремя, значит, она ему привиделась.

– Подтверждаю, конечно, подтверждаю. Он, Скулов, этот...

– Вопрос! – Адвокатский карандаш уперся в свидетельницу. – Где именно обвиняемый торговал цветами?

– Как это, где именно?

– Дома? На улицах города? У вокзала?

– Зачем? На рынке он торговал, в рядах. Там у него и место постоянное было, там с трудящихся и тянул денежки.

– Тогда прошу отметить в протоколе, что Скулов продавал лично выращенные им цветы не по спекулятивным, а по рыночным ценам.

Судья пошептала с соседями, склоняя голову то вправо – к мужчине-заседателю, то влево – к женщине. И громко решила:

– Занести в протокол: «Продавал лично им выращенные цветы по рыночным ценам».

Потом опять его, Скулова, допрашивали. Сразу ли с ружьем вышел или сперва без ружья; где стоял, что делал, какие слова сказал, стрелял ли в воздух и сколько именно раз. Долго его вопросами мурыжили – то прокурор, то адвокат, то заседатели, то судья. А он думал, что ответы его слышат и законная жена Нинель Павловна, и дочь Майя, и сын Виктор, и ему было очень муторно: получалось, что он вроде бы именно перед ними ответ держит, им объясняет, как дело-то было, а объясняя, оправдывается. И Скулову было невыразимо тошно оттого, что он вынужден оправдываться не только перед судом, но и перед ними. А тут еще стоять все время приходится, и сильно ноги разболелись – и та, которая есть, разболелась, и та, которой нет, тоже. Та уж так заныла вдруг, что аж взмок Скулов. По-дурному заныла, по-прошлому...

Но, к счастью, к радости, к облегчению великому, прозвучал тут решительный голос молодой, красивой, счастливой, видать, судьи:

– Объявляется перерыв судебного заседания.

## Второй народный заседатель

Единственными людьми, кто не торопился покинуть здание народного суда в тот день, были судья Ирина Андреевна и народный заседатель Юрий Иванович Конопатов. Ирине до отчаяния не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где все еще витал запах сигарет, где в передней стояли мужские лыжи, а в ванной лежал забытый крем для бритья. И поэтому она неторопливо возилась в совещательной комнате, где они обычно оставляли свои вещи, то с женской дотошностью принимаясь перебирать содержимое сумочки, то листая сделанные во время заседания записи, то чем-то себя занимая, а сама уголком глаза косилась на Юрия Ивановича, втайне удивляясь, почему он-то никуда не спешит.

Народный заседатель с неблагозвучной фамилией – немолодой и некрасивый – не спешил домой вовсе не из-за вевявшего от судьи женского обаяния. Хлебнувший в жизни солёного до слез, заседатель был приучен к нелегкому хлебу и далеко не развеселой жизни, но не жаловался даже себе самому в тихие минуты отчаяния. Только перестал торопиться домой, как торопился еще недавно.

Еще полгода назад они мирно жили в заводской двухкомнатной квартире: жена, дочь-десятиклассница и он, Юрий Иванович Конопатов, мастер участка термической обработки. Была налаженная жизнь, тапки и телевизор, ужины и завтраки, трудности по хозяйству и обычные размолвки с женой. И война дочери за личную свободу: за джинсы и сапоги, прозрачные блузки и глубокие разрезы на юбках, за право слушать современную музыку непременно при современной громкости, ходить в дискотеку и красить ногти, губы и ресницы хотя бы по воскресеньям. Он понимал, что аналогичные войны ведут все дочери, относился к этому, в общем, добродушно, зная, что победителем не будет, и постепенно сдавая позиции. И все вдруг сломалось.

У жены была мать (его, следовательно, теща), которой он никогда не видел: она всю жизнь прожила с младшим сыном, помогая нянчить двоих детей. Регулярно переписывались, жена ездила в гости, обменивались поздравлениями, открытками, посылками. А потом брат прислал письмо: «Хватит, мы содержали ее всю жизнь...» Жена тут же собралась, поехала и привезла тещу. Выяснилось, что у тещи отнялись ноги, но это было еще ничего, а месяца через полтора с ней что-то приключилось, и недвижимо лежащая в кровати старуха приобрела вдруг хрипчатый мужской голос и неодолимую потребность петь жизнерадостные песни.

Теперь их семья жила в одной комнате: он с женой и взрослая дочь, которой надо было готовить уроки, слушать музыку, болтать с подругами, мечтать о мальчиках, нарядах и счастье. А жена не могла бросить работу, потому что одной его зарплаты никак не хватало на четверых, теща целыми днями лежала одна, и в квартире хрипло звучали слова набивших оскомину песен. Дочь приходила только ночевать, появляясь дома все позже и позже; где она делала уроки, он не знал: дочь уверяла, что у подруги, жена трижды находила у нее сигареты, а он как-то вечером отчетливо уловил коньячный аромат.

– Дочка? – от растерянности он заговорил шепотом. – Ты что это, дочка?

– А что такое? – с вызовом спросила она и так шевельнула туго обтянутым джинсами бедром, что у него потемнело в глазах. – Подумаешь!

А из-за плотно прикрытых дверей комнаты, которая некогда принадлежала дочери, несло на весь пятиэтажный панельный дом:

Кудрявая, что ж ты не рада  
Веселому пенью гудка...

Да, Юрий Иванович не торопился домой. Понимал, что поступает скверно, несправедливо, эгоистично, что надо хотя бы своим присутствием поддержать совершенно измотавшуюся жену, но не мог. И мечтал не о другом доме, не о другой женщине, не о другом тепле – мечтал передохнуть. Хоть два, от силы – три часа. И поэтому неожиданно сказал и испугался:

– Вы очень спешите, Ирина Андреевна? Может...

Он подавленно и очень виновато замолчал, и эта виноватость теплой волной омыла обожженное сердце Ирины. Она тоже не рискнула поднять глаз, но сказала с привычным женским умением направлять идеи в знакомые русла:

– Что ж, я с удовольствием.

В кафе предложили столик на двоих, никто не мешал, но им все равно было неудобно. Односложно спрашивали, односложно отвечали, нехотя потягивали кислый рислинг в ожидании ромштексов и, кажется, мечтали разбежаться. Юрий Иванович сделался еще угрюмее, на Ирину вдруг нахлынули ностальгические воспоминания; разговор не вязался, и вечер явно рисковал оказаться испорченным.

– Знаете, я человек малоинтересный, – через силу, точно преодолевая чудовищно возросшую за время молчания инерцию, сказал Конопатов. – Обхождению не обучен, вырос в детдоме. Сироты все угрюмы.

– Ну, это не правило.

– Правило. – Юрий Иванович упрямо мотнул заметно поседевшей головой. – Вот если, к примеру, две параллельные линии проложить: своей жизни и... ну, дочери, чтоб яснее, и сравнить, какое соответствие. Вот мне – десять, и ей – десять, мне пятнадцать, и ей...

– Неправомерное сравнение, – по-судейски безапелляционно перебила Ирина. – Вы, мужчина, сравниваете свое становление, развитие со становлением девочки, а это абсолютно недопустимая параллель. Это два параллельно существующих, но непараллельно развивающихся мира, Юрий Иванович, поверьте женщине.

– Допускаю, – подумав, согласился он. – Что ж, возьмем двух мужчин. Возьмем обвиняемого Скулова и его жертву – Вешнева, Эдика этого... Хотя нет, не надо их сравнивать, суд еще не кончился.

– А я сравню не обвиняемого и жертву, а инвалида войны с... с одним человеком. – Ирина нахмурилась и решительно трянула тяжелыми кольцами чуть подвитых волос. – Параллель: Скулов – Икс. Десяти лет от роду беспризорник Скулов погибает от голода в Сумах – десяти лет Икс учится в английской и музыкальной школах одновременно. Пятнадцать лет: Скулов работает на заводе и учится в вечерней школе – Икс получает от папы магнитофон за второе место на школьном конкурсе пианистов. Восемнадцать: Скулов, экстерном сдал за семилетку, поступает в пехотное училище – Икс с блеском выдерживает конкурсные экзамены в университет. Двадцать: Скулов женится на зоотехнике Нинель Павловне – Икс обманывает девчонок, считаясь только с собственными желаниями. Двадцать три: Скулов второй раз тяжело ранен – Икс заканчивает университет и остается в аспирантуре. Двадцать пять: Скулов в бою теряет ногу – Икс досрочно защищает диссертацию. Тридцать: Скулов переезжает в наш город вместе с Анной Ефремовой – Икс женится на своей студентке Ларисе. Тридцать пять: Скулов работает в гараже – Икс бросает Ларису ради... скажем Елены. Тридцать восемь: Скулов проходит в суде по обвинению в служебном разгильдяйстве – Икс бросает Елену ради студентки Наташи. Это сопоставимо по всем параметрам, а судьбы настолько различны, будто линии их тянутся из разных миров.

– Трудностей бы им, – сказал Юрий Иванович. – Уж больно гладенько все, уж больно дорожки мы перед ними вылизываем. А если когда и заговорим о закалке, так уж непременно о закалке тела, а не души, обратили внимание? А ведь душу-то закалять не только важнее, но и труднее, а где вы о закалке души слыхали? Я, к примеру, нигде не слыхал, будто и нету ее у нас, души, значит. Одно тело осталось, а душу искоренили: так оно получается? Потому

и закалка – только для тела, и удовольствия – для тела, и всякие там игрища, соревнования, состязания – все для него, для тела нашего, для мускульной радости да утоления всяких потребностей. И так в этом разрезе мы поусердствовали, что душа давно уж в тени у нас, давно на второй план отошла, на задворки жизни, что ли. И что же мы получили, кроме того, что штангу высоко поднимаем да шайбы в хоккее заколачиваем? А то, что лезет парень цветочек сорвать, руку наколол – и ну матом крыть во всю ивановскую! И это при девушке, которой цветочек преподнести собирался.

Угрюмый молчун Юрий Иванович неожиданно разговорился, и неизвестно, куда направился бы разговор, да ромштексы принесли не вовремя. Он начал есть их («Голодный», – подумала Ирина), беседа оборвалась, а ей уже хотелось его слушать. Он не пытался шутить, не сбивался на комплименты, не болтал ради болтовни – он говорил то, что его беспокоило, над чем он размышлял, из-за чего тревожился. А тут из-за этих пережаренных, жестких, как тротуар, ромштексов замолчал. И это огорчило ее.

– Закаливание душ человеческих? – Ирина вновь пыталась поджечь разговор, но не очень ясно представляла, на что собеседник может отозваться очередной вспышкой искренности. – Суды завалены делами о мелких кражах, мелком хулиганстве, мелком мошенничестве – можно подумать, что люди утратили элементарную поведенческую волю. Они разучились управлять своими желаниями, своими эмоциями, своими поступками, будто, приобретя возраст и образование, так и остались с понятиями о детских шалостях. Круг дозволенности начал терять точные границы, он размывается, и каждый вот-вот примется устанавливать его сам для себя.

– Принялся уже, – буркнул Юрий Иванович, старательно двигая челюстями. – Раньше дети баловались, озоровали, а теперь нет этого. Теперь они нас, старших, на вседозволенность проверяют. И так, и сяк, и этак. Не силу в себе пробуют, а слабинку в нас ищут, вот ведь как все перевернулось, Ирина Андреевна.

На этом, по сути, и закончился тогда их разговор. Народный заседатель проводил до подъезда народного судью, кивнул на прощанье и пешком побрел домой, хотя путь был неблизким. Но он не торопился, вспоминая завывающий от восторга голос тещи. Теща являла День Вчерашний, а дочь – День Завтрашний: стремительный, резкий, своенравный, лохматый, в потертых джинсах и блузках без лифчиков. Эти дни, наглядно сосредоточенные в одной квартире, были несочетаемы. Дочь требовала доказательств, а не выводов, теорем, а не аксиом, самой истины, а не ее истолкования. Он не пытался примирить эти полярности, ясно представляя всю безнадежность и бессмысленность подобной акции, но очень боялся за дочь и понимал, как ей тяжело сейчас... Нет, нет, хватит об этом, хватит. Надо о деле. Главное – Скулов. Вот о чем и...

– Оставить жену с двумя малолетними детьми! – прозвучал в памяти голос Егоркиной. – Бабник, по роже видно. Сладострастный тип. Вы «Семнадцать мгновений» смотрели по телевизору? Сколько лет Штирлиц у фашистов провел, а? А ведь не завел себе любовницу, жене законной верность хранил. Знаете, в том месте, где ему жену издалека показывают, я всегда реву. А Скулов этот? Года потерпеть не мог. И это при двух-то детях, Юрий Иванович!

При двух, да. Нехорошо. У него вон один ребенок, и то из рук выкатывается, как колобок. Опасный возраст? Самообман это, дело совершенно в ином. Что-то упустил он, как отец, что-то недоглядел, недопонял. А вместе – просчет воспитания. Ведь воспитание – это воздействие... Воздействие. А что это такое? А это значит одно: пример действием. Не словами, не закливаниями – действием. Поступками, так скажем.

Юрий Иванович остановился, потоптался, даже свернул в переулок, хотя надо было идти прямо. Свернул, чтобы путь продлить, чтобы додумать очень простую истину, которую открыл для себя вдруг, потому что никогда не случалось ему думать об этом: воспитывают твои действия, которые все время наблюдает ребенок. И чем естественнее эти действия, тем большее влияние они способны оказать на твоего детеныша, потому что малыши инстинктивно и абсо-

лютно безошибочно отличают искренность от неискренности, истину – от лжи. Значит, если твое естественное поведение нравственно – один пример, безнравственно – другой, только и всего. И не надо никого специально воспитывать – надо просто быть самому естественно нравственным человеком. Естественно не для кого-то, не показно, не понарошку; ах, как же все просто, как просто!

Юрий Иванович еще куда-то свернул, чтобы удлинить путь, чтобы додумать, успеть понять, хотя, казалось бы, что тут понимать, и так все ясно. Но он старался быть предельно честным и сейчас, неторопливо шагая по темному переулку, внимательно разглядывал свое собственное обычное поведение, изучал то, что дочь изучала всю жизнь, еще лежа в кровати и не умея сказать «папа».

Значит, приходил он с работы, тапочки надевал, шел руки мыть. А всегда ли вовремя приходил? Нет, не всегда: то в цеху задержат, то к начальству вызовут, то с ребятами. Замечала это дочка? Ну, а как же? Собака и та точно знает, когда хозяин должен вернуться. Значит, сперва чувствовала, потом замечала, фиксировала его объяснения, а он никогда толком не объяснял, почему опоздал. А отсюда – пример, а из примера – вывод: допустимо быть неточной. Так, для начала неплохо, дальше пойдем. А дальше, скажем, такой факт. Застолье, гости. И он жене – рюмочку. Да с уговорами: «Выпей, подумаешь, делов-то...» А спор: отправлять старуху в дом престарелых или не отправлять, и он настаивал: «Отправлять» – и к доченьке адресовался за поддержкой, и доченька поддерживала, а жена плакала и причитала: «Не могу, мать она мне. Не могу, мать она мне...» Вот так из кусочков, из осколочков и складывается картина, а потом ищем, кто виноват, чье там тлетворное влияние... Ладно, ему еще с дочкой повезло, сильно повезло: толково учится, больше об институте мечтает, чем о тряпках, домой вовремя приходит... Приходила. Сейчас что-то задерживаться все чаще начала: у подруги, говорит, занимается, а телефона там нет. Ну, это понятно: не очень-то дома за уроками посидишь при таком звуковом оформлении, а у нее – десятый класс, экзамены, нагрузка: одних книжек с полтонны прочесть велели. Нет-нет, у него еще слава богу, как говорится. И даже сигареты, что мать нашла, то не дочкины оказались, а подружки, а что он как-то коньячок уловил, так дочь только вначале взъерошилась, а потом объяснила, что у родителей подружки было семейное торжество, и ей пришлось выпить глоток. Нет, повезло с дочкой, повезло, не то что некоторым.

Как ни старался Юрий Иванович идти медленно, а до дома все же дошел. Поднялся на этаж – дом пятиэтажный, типовой, без лифта, – открыл своим ключом дверь. И сразу услышал, как горько и беспомощно плачет на кухне жена.

– Что случилось? – крикнул. – Что? С дочкой?..

– Не кричи, не надо. Просто... Не ночует она дома ни завтра, ни послезавтра.

– Как – не ночует? У подруги опять?

– Сказала так. У той, где телефона нет. Мол, родители той подруги на три дня уехали и просили ее по ночевать.

– Это дочь так говорит?

– Мужчина еще звонил. Сказал, что он – папа этой подруги и что просит отпустить нашу к ней на три дня.

Юрий Иванович с облегчением улыбнулся, ласково погладил жену по голове. Как маленькую.

– Ну, и чего ревешь? Поночуют две девчонки, посекретничают. У подруги ведь, не где-нибудь.

– У подруги? – Жена глянула странными, ушедшими в себя глазами. – Эта подруга только что была у нас. Никто у нее никуда не уезжает, и отец ее ни разу нам не звонил. И вообще доченька наша уже десять дней как в школу не ходит, поэтому подруга и прибежала.

Он молча, без сил и без дум опустил на жалобно скрипнувший табурет.

## Секретарь суда

Лена третий год работала секретарем в народном суде и третий год с упорством обреченного подавала документы в юридический институт. Ее регулярно допускали до сдачи экзаменов, но когда дело доходило до сочинения, Лена терялась настолько, что забывала буквы родного алфавита. Она знала тему сочинения, дома заранее и вполне грамотно писала его с обильными цитатами, но как только принималась переписывать это же сочинение в аудитории, ошибки начинали громоздиться друг на друга с неотвратимостью горного обвала.

– Плюнь, – говорил отец.

Он был кузнецом высокой квалификации, объяснялся кратко и только в пределах необходимости: «Разогрей», «Подай», «Доверни». От вечного огня и тяжелого грохота выглядел суровым сверх меры, съедал утром тарелку щей, вечером – две, смотрел телевизор и на всех ворчал. На хоккеистов и футболистов, на дикторов и комментаторов, на фильмы и спектакли, на международное положение, внутренние неурядицы и даже на саму Аллу Пугачеву. Впрочем, ворчал добродушно. Он был настолько силен, спокоен, добр и добродушен, что стеснялся, и поэтому всегда старался выглядеть ворчливым.

– Плюнь. И работай, как всем положено.

– Стаж зарабатывай, – уточняла мама.

Мама тоже старалась выглядеть, но дальше самого глагола дело у нее не сдвинулось. Выглядеть, и точка. И в этой точке умещалась вся ее философия, нравственность, мораль, вера, мировоззрение и даже сама работа, о которой мама говорила где угодно, только не в семье, представлялась Лене желанием выглядеть: мама работала администратором в заводском Дворце культуры, но упорно именовала себя ассистентом и очень любила изрекать нечто загадочное:

– Кто мы, артисты, в сущности? Боги искусства или рабы его?

Лена училась как все, читала как все, одевалась как все, смотрела как все, слушала как все и говорила как все. И когда окончила школу, оказалась нормальным витязем на распутье: уж что-то, а в какую сторону идти, ей было абсолютно все равно. Направо – учиться, прямо – работать или налево – бездельничать, хотя, честно говоря, налево хотелось меньше. Она была тихой, старательной, влюбчивой, но что-то в ней присутствовало такое... Нет, точнее будет сказать так: что-то в ней отсутствовало такое, что оставляло ее вне мужских взглядов. И все летело мимо, а с нею оставались слезы.

– Ты должна стать юристом, – объявила мама, то ли прочитав очередной детектив, то ли посмотрев очередных «Знаток».

– Воров ловить? – заворчал отец.

– Судьей, – отрезала мама. – Для женщины это очень престижно. Очень, поверь.

И начались муки поступления. После первого провала возникла первая семейная разногласица: мать всеми правдами и неправдами стремилась запихнуть дочь поближе к Фемиде, а отец настойчиво талдычил насчет ПТУ. Победила, как всегда, мама. Лена в конце концов стала секретарем, но больше решительно ничего не изменилось. Ни мечта, ставшая еще более желанной от личных наблюдений («Встать! Суд идет!» – и все встают. Даже генералы, чему Лена сама была свидетельницей); ни количество мужских глаз, к которым подружки восторженно применяли глагол «положил» («Он на меня глаз положил, представляешь?», а Лена и знать не знала, что это такое); ни количество ошибок в заученных назубок сочинениях.

– Подлецы, взяток ждут, потому и режут, – твердо установила мама.

– Не смей! – Отец грохнул по столу своим кузничным кулаком и ушел из дома ровно на сутки.

Такого еще не случалось, и мама притихла. Отец вернулся, все пошло, как шло всегда. Мама при отце подобных версий более не выдвигала. Зато отводила душу наедине с дочерью:

– Эта ваша судья, ну, молодая эта, вертихвостка...

– Ирина Андреевна?

– Ну? Думаешь, она способнее тебя? Да я на шести процессах была: баба как баба, с двадцатого ряда видать, что баба. Судья! А почему? А потому...

Мама подмигивала, выразительно шевелила пальцами, нисколько не задумываясь над тем, что из всех ее слов больше всего ударили Лену «с двадцатого ряда видать». А Лене не было видно не только с двадцатого – ее в упор не было видно, и никакие взятки, на которые не переставала возлагать надежды мама, тут ничегошеньки поделаться не могли. А время шло...

– Встать! Суд идет!

Так говорила Лена, а все вставали перед Ириной Андреевной Голубовой, и все видели в ней бабу с двадцатого ряда. И постепенно вместо удивления, недоумения, слез и растерянности в душе Лены стали проклевываться совсем иные ростки, которые регулярно и весьма плодотворно подкармливала мама:

– Какая уж тут объективность, когда прокурор млеет? Представляю, что у них там, за кулисами, творится.

За кулисами ничего не творилось, и Лена отлично об этом знала, но... но то, что говорила мама, было приятно. Грустно и все же приятно, потому что объясняло, почему Лене так не везет, а вот некоторым... ну, например, Ирине Андреевне – так везет. И если поначалу Лена относилась к Голубовой с восторженной влюбленностью, то постепенно, исподволь, при активном воздействии маминого авторитета и ядовитых ростков восторженность сменилась болезненной завистью, а влюбленность – еще более болезненной ненавистью.

– Только не выступай. Учитесь властвовать собой, поняла?

И Лена училась властвовать собой раньше, чем постигать науки, отец махнул тяжелой ручищей, а мама решала проблему богов и рабов притворства (которое она упорно именовала искусством) на собственной дочери. И вскоре секретарь суда наловчилась, корректно улыбаясь, при малейшей возможности подкладывать поросеночков Ирине Андреевне, о чем Голубова, естественно, и не догадывалась.

## Суд

Шел четвертый день судебного разбирательства. Уже были рассмотрены все обстоятельства преступления, подтвержденные заключениями экспертов и показаниями свидетелей. Уже досконально были исследованы прямые и косвенные причины, по секундам рассчитано время жертвы и убийцы, прочерчен каждый шаг их вплоть до пересечения, до рокового того места и мига, когда прогремел выстрел в упор. И все уже казалось таким ясным и бесспорным, что не только публика, но и люди опытные, профессиональные, поднаторевшие в процессах недоуменно пожимали плечами, вспоминая о защите:

– Жаль старика. Единственно – искать смягчающие обстоятельства, просить суд учесть былые заслуги. В целом, увы, жалобно и как-то... некорректно, что ли.

А защита встретила утро бодро, как никогда. Поцеловала свою Беллочку, фальшиво промурлыкала «Но нам нужна одна победа...» и столь же энергично зашагала в суд. А за квартал до суда ждала Лида Егоркина.

– Поете?

– Лидочка? – обрадовался старый адвокат. – Вот уж не рассчитывал на встречу.

– Я получила точные намеки, – как всегда таинственно понизив голос, сказала заседательница. – Конкретно сообщить обещали позже, но я вас прошу быть осторожным. Быть очень осторожным!

– А в чем, собственно, дело?

Добиться от необычайно серьезной Егоркиной чего-либо определенного не удалось, но таинственные намеки возымели определенное действие, и адвокат входил в здание суда совсем не в том азартном настроении, с каким выходил из собственной квартиры. Однако встретили его как обычно, и все шло заведенным порядком, и он успокоился, привычно заставив себя сосредоточиться на процессе. Но какая-то иголочка в нем все же застряла, потому что он – вдруг и сам не понимая почему! – испугался, узнав, что свидетель, которого уже однажды допрашивали, испросил специального разрешения дать дополнительные показания.

Этим свидетелем был Иван Свиридович Ковальчук. Единственный, кто знал о Скулове как о человеке все или почти все, относился к нему с любовью и уважением и должен был, обязан был уже уехать, вернуться в Москву, куда так торопился. Там ждало его какое-то весьма срочное дело, и поначалу он и приезжать-то на процесс не хотел, намереваясь ограничиться письменными показаниями. И внезапно вместо поспешного отъезда – дополнительные показания.

Нелегко Иван Свиридович добился этого исключительного разрешения, и если бы адвокат знал о его особой настойчивости в то утро, он насторожился бы еще больше. Ковальчук прибежал за час до начала заседания, разыскал судью Голубову, долго упрашивал, доказывал, настаивал. Ирина Андреевна, молча все выслушав, сухо отказала:

– Вы уже исполнили свой гражданский долг. Не вижу необходимости исполнять его повторно.

– Ирина Андреевна, я умоляю, я обязан, как честный гражданин.

С чего это он так испугался?

– Повторяю, что не вижу необходимости в вашем повторном вызове в качестве свидетеля.

Отказ был категорическим, но Ковальчук с ним не смирился, тут же бросившись к председателю районного суда. Что уж там он говорил, как доказывал – неизвестно, а только председатель успел до начала судебного заседания вызвать Ирину:

– Ковальчук написал официальное заявление. Прошу вас, Ирина Андреевна, рассмотреть вопрос о возможности его повторного вызова в качестве свидетеля.

– Ковальчук проходит только в связи с характеристикой подсудимого. Его показания никак не могут раскрыть новых обстоятельств преступления.

– И тем не менее. Он так настойчиво просил.

– Вот это-то меня и настораживает.

– В порядке исключения, – вздохнул председатель. – Он ведь непременно жаловаться побежит, если откажем.

Скулов, естественно, ничего не знал об этих затруднениях. Он устал от публики, от бесконечных вопросов, от голосов, слов, звуков, дыхания людей и в особенности от их взглядов. А тут еще немислимо разнылась нога, и он окончательно отупел, занятый этой болью и ответами, которых от него все время требовали. Настолько отупел, что и на жену с детьми поглядывать перестал, и слышать начал плохо, и вопросы понимал не все, но отвечал не переспрашивая. Как выходило, так он и отвечал, потому что очень уж нога тревожила, и Скулов стал чувствовать, как время тянется, как ползет оно, проклятое, точно боль от пальцев, которые в Венгрии остались, в шерстяном носке, до самого сердца и жжет там угольком. А потом, что ему-то думать, как именно отвечать? Он ведь все признал, он ни о каком там смягчении и слышать не хочет – так не все ли равно, что говорить? Лишь бы время шло побыстрее – вот одна задача, которую решить осталось. Только как силы собрать для этого, как, когда ногу будто искрой простреливают, когда пальцы ноют, которых нет, когда в глазах все точки да точки, в ушах – звон и голова кругом кружится. Значит, одно остается: выключиться. Уйти в себя, внутрь, в свой каземат, закрыться в нем, забаррикадироваться и – вспоминать. Об Ане, о счастье, о молодости, о... о том безногом морячке на тележке, имя которого Скулов позабыл, к великому и мучительному стыду своему...

А все-таки жалко, что нет загробной жизни. Была бы – он бы упросил, умолил бога или там маму его, чтобы позволили ему с Аней увидеться. Еще разочек, один-единственный, на секундочку, чтоб только прощения у нее попросить. Объяснить ей, как все случилось, почему случилось и зачем он в живого человека выстрелил. Аня бы все поняла, потому что любила его, а какой суд тут может разобраться? Всех вон одно интересует: сколько да почем он цветы продавал. А кто спросил: хватало вам, Скулов, пенсии на двоих, на дом, на ремонт, на свет, на газ, на участок? Они ведь не деньги к деньге подбирали, а цветок к цветку, а кому это теперь важно? Кто тут хоть раз спросил: сколько, мол, полкуба теса стоит, как его достать, где машины раздобыть да что с поездки шофер заломит?

– ...Проволоку я лично Антону Филимоновичу посоветовал. Я, лично, он тут и вовсе ни при чем.

Вынырнул Скулов из всех своих болей, обид, воспоминаний. Услышал спокойный глуховатый голос, взгляделся: Митрофанов. Григорий Степанович Митрофанов, директор спортивного комплекса, в котором Скулов до пенсии работал на должности инженера стадиона. Строгий мужик, фронтовичок, принципиальный товарищ: «Если ты, Скулов, ко мне кантоваться пришел, так давай лучше сразу – горшок об горшок». Потом сработались, нормально жили, в гости друг к другу захаживали. А когда Скулов на пенсию вышел, Григорий Степанович над ним что-то вроде шефства взял. Списанные доски – Скулову, списанное железо – Скулову, списанную колючую проволоку – тоже ему...

– У Скулова цветы воровали чуть ли не каждую ночь: участок-то у самой дороги. Вот я и привез ему списанную колючую проволоку и сам же натянул ее вдоль всего забора.

– Скажите, свидетель, а почему Скулов не заводил собак?

– Заводил, – вздохнул Митрофанов. – Лично я трех знаю, и все три не своей смертью погибли. Сперва Найдю отравили – хорошая овчарка была, умная, медали имела. Она на руках у жены Скулова умерла.

– На руках у Анны Ефремовой, вы хотели сказать?

– Я всегда говорю то, что хочу сказать, товарищ защитник. Найда умерла на руках у жены Скулова Анны Свиридовны. И это так потрясло Аню, что...

– Простите, Григорий Степанович, сначала я бы хотел услышать о собаках. Вы сказали, что знаете трех?

– Совершенно верно, три. Найда, Курган и Дымка. Найду отравили, я уже докладывал. Кургана задавила машина, а Дымку... – Митрофанов трудно проглотил комок. – Дымку забили камнями, когда Скулов был на кладбище. Аню навещал.

– Когда это случилось, не припомните?

– Такое, товарищ защитник, не забудешь. Двадцать шестого сентября это случилось, за два дня до... до выстрела.

– Благодарю, Григорий Степанович. Защита больше не имеет вопросов.

Ай да адвокат, ай да старик! Каких раздобыл свидетелей, как ловко поставил вопросы, как поворачивает настроение зала... Даже прокурор восторгался сейчас изящным профессионализмом защиты. И только Скулову было все равно, хотя теплая волна благодарности к бывшему его начальнику Григорию Степановичу Митрофанову омыла и его обнаженную душу.

– Вопрос к свидетелю. – Как ни радовался прокурор за адвоката, долг оставался долгом. – Вы много и красочно говорили о своей помощи обвиняемому, перечисляли доски, железо, колючую проволоку. А не было ли среди этой номенклатуры водопроводных труб? Или хотя бы обрезков этих труб?

– Не было. У Скулова на участке был колодец, позднее им, как и всем на улице, провели водопровод, так что в трубах он не нуждался, и я ему их никогда не предлагал и не привозил.

– Значит, вы никаких труб или их обрезков у Скулова не видели?

– Повторяю... – металлическим голосом начал Митрофанов.

– Благодарю вас, вопросов более не имею.

Какие еще трубы, откуда трубы, почему – трубы?

Что-то вертелось в памяти Скулова, но он и не пытался припомнить. Он вообще старался забыть, а ему все время напоминали, напоминали...

– В порядке исключения суд счел возможным повторно вызвать свидетеля Ковальчука Ивана Свиридовича.

Ваня. Нашел, значит, время, хотя – говорили тут – очень уж домой, в Москву, торопился. Ах, Ваня, Ванечка, последний родной человек на этой земле! Горло Скулова сдавило, непрошенная слеза выкатилась вдруг, он быстро и смущенно смахнул ее, а она снова выкатилась...

– Прежде чем отвечать на вопросы, я с глубоким и искренним сожалением должен попросить прощения у суда.

Четкий, какой-то продуманный, что ли, голос свидетеля защиты Ивана Ковальчука зазвучал в переполненном зале, заставил всех замереть, прорвался и сквозь воспоминания Скулова. Судья недоуменно переглянулась с заседателями и спросила, не сумев сдержать удивления:

– Вы просите прощения, свидетель? За что же вы просите суд простить вас?

– За то, что я ввел вас в заблуждение. – Свидетель держал голову очень прямо, как на смотру, глядя только в глаза судье и всеми силами стараясь ничего более не видеть. – Поддавшись внушенным мне с детства дружеским чувствам, я в корне неправильно осветил суду личность гражданина Скулова Антона Филимоновича, за что достоин сурового порицания.

Адвокат вскочил. Не встал, не приподнялся – вскочил с не свойственной ни его возрасту, ни положению, ни здоровью резвостью. Качнулся, открыл рот два раза, но так ничего и не сказал и рухнул на заскрипевший стул, машинально тиская правой рукой рыхлую грудь. К нему с беспокойством склонился второй адвокат – молодой, уже наступающий на пятки, но еще искренне любящий старика, – а свидетель тем временем продолжал:

– Моя дорогая сестра, единственное родное существо, поскольку все остальные были зверски уничтожены фашистскими оккупантами за связь с партизанами, героиня Великой Отечественной войны Анна Свиридовна Ефремова получила свое последнее тяжелейшее ранение по вине бывшего капитана Скулова, о чем неоднократно рассказывала как мне, так и моей приемной матери...

Антон Филимонович ничего не понимал: почему Аня была ранена по его вине? какая связь с партизанами? откуда Ваня – мальчонка в те года – знает то, чего не знали они с Аней, несмотря на все ее отчаянные письма и официальные запросы о судьбе родных?

– ...Холодный расчетливый эгоизм – вот, пожалуй, основная черта Скулова, если не считать его патологической скупости. Именно скупость определила то, что он, Скулов, запретил моей сестре – искалеченной по его же вине! – взять из детского дома ребенка на воспитание. Именно скупость... Да что там, если уж всю правду, так этому не скупость название, а кулацкая жадность!.. Так вот, жадность его отчетливо видна в том хотя бы факте, как он поступил с имуществом моей приемной матери Александры Петровны Ковальчук. Обманом выпросив у меня дарственную на домишко и участок, он не дал мне, ее единственному близкому человеку, платочка на память! Скулов – кулак, самый настоящий кулак сегодняшнего дня с кулацкой психологией, кулацкой моралью, кулацкой жестокостью и...

– Неправда!

Кто это так закричал? Скулов был до того потерян, до того ничего уже не соображал, что перестал верить собственным ушам, а теперь не верил и собственным глазам, увидев вставшую во весь рост посреди замершего зала собственную законную жену Нинель Павловну.

– Неправда! Скулов никогда не был жадным, не мог быть жадным! Он сам из детдома, он...

– Гражданка Скулова, немедленно замолчите. Иначе я прикажу вывести вас из зала! – Судья с трудом справилась с волнением. Помолчала, сказала потухшим голосом: – Продолжайте, свидетель.

Нинель Павловна Скулова продолжала стоять посреди зала, точно выслушивая приговор. Слезы текли по ее нездорово располневшему лицу, рассеченному заглубившимися морщинами. Дети – Майя и Виктор – с обеих сторон настойчиво тянули ее вниз, на место, дочь то и дело вставала и что-то шептала ей, но Нинель Павловна упорно продолжала стоять. Пока судья негромко и мягко не попросила ее:

– Нинель Павловна, пожалуйста, сядьте на место. Вы отвлекаете суд.

– ...И еще одно деяние прекрасно характеризует Скулова, хотя об этом почему-то стыдливо умалчивали на процессе. Речь идет о продаже Скуловым автомашины марки «Москвич», которую он получил как инвалид войны, а продал по спекулятивной цене. На первом процессе – я имею в виду дело по обвинению Скулова в темных махинациях, когда он был директором рынка...

– Свидетель, придерживайтесь существа вопроса, – сказала Ирина Андреевна официальным голосом.

– Я полагал, что моральный облик обвиняемого в тягчайшем преступлении и есть существо...

– Повторяю, свидетель, придерживайтесь строго существа дела, – с той же интонацией повторила Голубова.

Да, был инвалидный «Москвич», Ваня, был, все точно. И получил его Скулов без очереди, и продал за большие деньги – тоже верно: как раз за это и наложили на него партийное взыскание. Только что же ты о другом умалчиваешь, Ванечка? Вскоре после похорон Александры Петровны Аня в саду упала в клумбу головой – ты еще уехать не успел, ты был тогда, вдвоем с тобою Аню-то в дом втаскивали, а ты за доктором бегал. Вот тогда доктор и сказал, что это, мол, первый звоночек, что лечить ее надо и что лекарство для этого заграничное тре-

буется, швейцарское, что ли. А ты ведь знаешь, сколько они стоят, заграничные эти лекарства, ты за границей больше, чем дома, живешь. Вот и пошел тогда инвалидный «Москвич» в обмен на таблетки и строгий выговор по партийной линии: что же ты об этом-то, Ваня, а?..

– Я касаюсь истории со спекуляцией автомашиной потому...

– Суд не интересуется история с проданной автомашиной, поскольку вопрос этот был соответствующим образом рассмотрен и оценен. Суд настоятельно просит держаться только существа дела.

– Существо дела заключается в том, что сидящий на скамье подсудимых гражданин зверски застрелил комсомольца и будущего воина Советской армии...

– Свидетель, подобные формулировки входят исключительно в компетенцию суда, – отчеканила Ирина Андреевна, и по залу прошелестел уважительный шепот. – Отвечайте только на вопросы. Коротко и по существу. Защита?

Что-то тихо промямлил посеревший адвокат, дышавший трудно и часто. Второй защитник поспешно привстал со стула:

– Защита не имеет вопросов.

– Позвольте мне.

Прокурор поднялся, а вопрос задавать не спешил. Долго смотрел в лицо свидетелю, прежде чем спросить:

– Как прикажете понимать принципиальную разницу в ваших показаниях два дня назад и сегодня? Что послужило этому причиной?

– Конкретно? – Иван помолчал. – Моя гражданская совесть, если угодно.

– Совесть? – словно бы с участием переспросил прокурор, и по залу отчетливо прошелестел смешок. – Похвально, но очень уж расплывчато. Вы ни с кем не встречались за истекшие сутки, не беседовали, не советовались?

– Я ни с кем не встречался.

– Вы звонили в Москву?

– Я ежедневно разговариваю с женой.

– Может быть, это она посоветовала вам принципиально изменить показания?

– Нет. Я сам решил это сделать.

– Следовательно, вы не возражаете против моей формулировки, что вы принципиально изменили свои показания?

– Да, я принципиально...

– Когда же вы лгали суду, свидетель, два дня назад или сегодня?

Пауза была длинной, напряженной, тяжелой. Ковальчук подавил вздох и негромко сказал, впервые опустив глаза:

– Я отказываюсь отвечать на так сформулированный вопрос.

– А вы уже ответили, – усмехнулся прокурор и издали чуть поклонился старому адвокату. – Я выполнил вашу миссию, коллега, во имя торжества справедливости.

Прокурор сел. Судья перешептывалась с заседателями, свидетель Ковальчук продолжал стоять, беспрестанно вытирая вдруг обильно хлынувший пот, и в зале возник легкий шум.

– В течение судебного разбирательства вы дали два взаимно исключаящих друг друга показания, – сказал заседатель Юрий Иванович Конопатов, и зал опять напряженно замер. – Какое из них соответствует истине?

– Второе, естественно. – Ковальчук заметно нервничал, все время промокая лоб. – То есть то, что я говорил сегодня.

– Значит, то, что вы говорили в первый раз, истиной не является?

– Я уже объяснил причины, побудившие меня... не совсем объективно осветить некоторые факты из жизни обвиняемого, и попросил за это прощения.

– Здесь не детский сад, свидетель, – медленно, взвешивая каждое слово, сказал Конопатов. – Прежде чем дать вам слово, вас ознакомили со статьей закона, предусматривающей уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Вы дали расписку, что вас ознакомили с этой статьей?

– Дал. Но поймите же...

– Извиняюсь, я не закончил. Я буду настаивать на применении этой статьи к вам, свидетель Ковальчук.

– Правильно! – громко крикнула Нинель Павловна и снова вскочила, зааплодировав на весь зал. – Спасибо за справедливость! Спасибо!

– Гражданка Скулова, прошу вас немедленно покинуть зал! – крикнула Ирина Андреевна.

Майя вела мать по проходу, а Нинель Павловна все время оборачивалась и, всхлипывая, повторяла:

– Спасибо за справедливость! Спасибо! Спасибо за справедливость!

В зале возник шум, задвигали стульями, зашуршали, кто-то некстати засмеялся. Голубова стучала карандашом по графину, за ее спиной о чем-то спорили заседатели, свидетель по-прежнему стоял на своем месте, поскольку еще не был отпущен судом. И поначалу никто не заметил, как обмяк и начал сползать на пол старый адвокат. Заметил Скулов, все понял, вскочил, отбиваясь от обхвативших его конвоиров, и закричал:

– Врача! Скорее врача! Скорее!..

## Перерыв судебного заседания

При всех железных правилах, которыми строго руководствовалась в жизни Лида Егоркина, подчас сама того не замечая, существовало нечто такое, что – правда, нечасто – заставляло ее поступать вопреки логике, если принять за логику свод пуританских аксиом. Лида была совершенно беззащитна перед человеческим порывом, перед той вспышкой искренности, когда человек поступает наперекор предполагаемому, предначертанному, предопределенному. Такие внезапные поступки – идущие, как правило, во вред их совершающему и уж никак не в его пользу – всегда умиляли и трогали ее до долгой сладостной боли, от которой першило в горле. Иными словами, Лида Егоркина неосознанно восторгалась тем, на что сама была способна в молодости и что удушила в себе пыльным сводом житейских правил. Мы вообще часто восторгаемся именно тем, ростки чего сами же затоптали в душе своей. И поэтому когда Скулов закричал, а «скорая» увезла адвоката и судья вынужденно объявила перерыв на час раньше обычного, Егоркина ринулась разыскивать Нинель Павловну.

Правда, вначале она все же исполнила одну обязанность, давно и добровольно взятую ею на себя и ставшую уже привычкой. Дело заключалось в том, что подсудимых не кормили в перерывах судебных заседаний, выдавая им положенный обед в камере по возвращении из суда. Лида считала это неправильным и всегда давала деньги кому-либо из конвойных, упрасывая купить что-нибудь – хоть булку! – подсудимому. На этот раз конвой оказался сговорчивым, обещал доставить Скулову полный обед, и обрадованная Егоркина помчалась искать поразившую ее законную супругу подсудимого.

Она нашла всю семью в кафе-стекляшке: мать, дочь и сын молча пили кофе с пирожками. Нинель Павловна часто и трудно вздыхала, Майя встревоженно посматривала на нее, а Виктор сердито хмурился. Лида подошла, сказала: «Привет!» – объявила, кто она такая, обстоятельно пожалала всем троим руки и потребовала:

– Расскажите-ка мне о Скулове. Письменный допрос ваш, Нинель Павловна, я как-то прослушала, выкриков с места не поняла, а понять хочу, потому что сегодня мы уйдем в совещательную комнату и выйдем оттуда уже с приговором.

– А что, собственно, вас интересует? – неприязненно спросил сын. – Все лезут, все спрашивают.

Егоркину смутить было невозможно. Она молча выслушала молодого мужчину (такие почему-то сами собой как бы отмечались в ее голове, хотя она за это на себя сердилась), шелкнула огромной старомодной сумкой, извлекла железный рубль и протянула ему:

– Виктор Антонович, я не ошиблась? Кофе с пирожком принесите мне. Боюсь, застрянем мы в совещательной.

Виктор послушно взял рубль и пошел к стойке. Нинель Павловна строго молчала, а Майя грустно улыбнулась:

– Думаете, секрет для нас, что папа не мог просто так выстрелить? Он курицу зарезать не мог, мама рассказывала. Значит, довели.

– Но вы-то, вы-то? – сердито перебила Егоркина. – Я ничего понять не могу, Майя Антоновна, ничего решительно. С отцом вы не жили, практически не видели его – Виктор Антонович, знаю, так и вообще не видел! – связи не поддерживали, так ведь? И мне непонятно ваше решение присутствовать на этом процессе.

– Любопытно вам, – усмехнулась Майя: она часто усмехалась. – Ну, например, как вы думаете, почему этот Ковальчук так распинался? Сообразил за сорок восемь часов, что есть возможность дарственную на дом аннулировать. Обманули его, подлеца, видите ли!

– Майя, – с привычной материнской строгостью сказала Нинель Павловна. – Нельзя думать о человеке плохое, пока нет доказательств.

– Есть, мама, – твердо сказала Майя. – Есть.

– Мы не знаем, почему он решил предать отца, – вздохнула мать. – Мне почему-то кажется, что не из-за имущества.

– Мне тоже, – ляпнула Егоркина.

Ей не следовало бы высказывать своих соображений, почему она сразу же и запнулась, но тут, по счастью, Виктор принес кофе и пирожки, и Лида с преувеличенным аппетитом накинулась на них.

– Юридически получается очень запутанное дело, – сказала она с набитым ртом. – С одной стороны, Ковальчук официально оформил дарственную в пользу сестры, но с другой – его сестра не была официально зарегистрирована в браке с гражданином Скуловым, то есть вашим отцом. После ее смерти Скулов, то есть ваш отец, стал владельцем де-факто, поскольку все знали, что он много лет прожил в этом доме с Анной Ефремовой и при этом не было встречных претензий. А с третьей стороны, его все равно осудят, но переходит ли при этом его фактическое, но не юридическое право...

– Не за правом мы приехали, – недружелюбно перебил Скулов-младший.

– Как? – растерялась Лида. – Вы – законные его дети.

– Нам сказали, что тут, на суде, за него слово замолвить можно, – сказала Нинель Павловна. – Объяснить всем, если, конечно, позволят, что он за человек, наш отец Антон Филимонович, что таких добрых да совестливых людей теперь уж, наверно, и не встретишь вовсе, теперь все свой интерес соблюдают, все к себе гребут, а остальные – хоть с голоду помирай.

– Как?.. – второй раз оторопело переспросила Егоркина, перестав жевать. – Я ничего не понимаю.

– Чего вы не понимаете? – вздохнул Виктор. – Что батя мой – честный человек, не понимаете? Что он не мог, права не имел Анну Свиридовну оставить, потому что она ему жизнь спасла? И нас забыть не мог, потому что всегда любил?

– Он рубли свои последние нам всю жизнь посылал, – дрогнувшим голосом подхватила Майя. – Пока учились, на всех посылал, на троих, а когда мы образование получили, выросли, свои семьи завели, он и тогда о маме не забывал и непременно три раза в год – к дню ее рождения, к Новому году и к Восьмому марта – деньги ей телеграфом переводил. На подарок. А про него этот тип сказал, будто он – кулак? Наш отец – кулак? Да я... Я ему глаза выцарапаю!

– Ничего я не понимаю! – с отчаянием выкрикнула вдруг Егоркина, от души треснув по столу огромной сумкой.

Вот подивился бы Скулов, если бы слышал этот разговор! И тому бы подивился, что дети его, оказывается, и помнят, и любят, и чтут, и уважают. И тому, что приехали они не на убийцу глазеть, а ему, отцу своему и мужу, помочь посылать, поддержать его как только возможно. Но больше всего он бы удивился, узнав, что три раза в год регулярно посылал деньги собственной жене: на день ее рождения, Новый год и к Восьмому марта. И наверняка бы не удержался, наверняка бы слезу уронил и прошептал бы потрясение:

– Ах, Аня, Аня. Телеграфом, значит, посылала, чтоб почерка никто не узнал? Ах ты, Аня моя...

Но Скулов был далеко от кафе-стекляшки: в охраняемой зарешеченной комнате в здании суда. Он сидел за столом, и перед ним стоял давно остывший обед, который принесли из того же кафе на деньги Егоркиной и к которому он так и не притронулся. Он молча раскачивался на стуле, тупо глядя перед собой, пытаясь понять что-то очень важное, что-то нужное, просто позарез необходимое, но мысли его разбежались, сосредоточиться не удавалось, и он напрасно раскачивался на равномерно поскрипывающем стуле.

Что же это получилось? Что же это такое произошло, может, ослышался он или не разглядел, может. Нет, то не Ваня выступал, то совсем не Ваня, подменили Ваню, украли или уехал он, а это кто-то другой, под него загримированный, как артист. Не может, не может, не может...

Как так – Аня по его вине пострадала? Из-за него – да, из-за него, Скулова, он не спо рит, но ведь война, Ваня, пойми, война, братишка, у нее свои законы, свой счет, своя правда. Он же ранен был тогда, и Аня не могла не прикрыть его своим телом... Нет, могла, конечно, могла и не прикрыть, только... Только это тогда бы не Аня была, вот в чем тут штука, Ванечка, вот в чем вся штука. А насчет того, что семью вашу фашисты расстреляли за связь с партизанами, это, Ваня, Скулову неизвестно. Скулову и Ане одно было известно: семья погибла в оккупации. Может, от голода, может, от болезни какой, может, при бомбежке или артобстреле, но никто ее вроде бы не расстреливал, и документов насчет этого Аня никогда не получала, а получала: «Ваши родители погибли во время оккупации». Вот и все. Три запроса в разные места они с Аней посылали, и три ответа – один в один – из всех трех мест. Откуда же партизаны вдруг объявились, Ваня? Не надо так-то ошибаться, мертвые в славе не нуждаются.

Ну, а что Скулов с наследством тебя обманул, что себе все захапал, что жадность в нем кулацкая, – это, Ваня, твоей совести дело. Это ты ее спроси, пока еще время есть, потому что упустишь – и она тебя спросит. Ой как еще спросит! День и ночь допрашивать будет жесточе самого дотошного следователя, спать не даст, забыться не даст, в себя уйти не даст. Так что подумай сам, Ваня, большой уже, пора и самому думать. Подумай, пока не поздно, с совестью посоветуйся: Скулов на тебя не в обиде. Мало ли какие причины: может, жена твоя тебе так посоветовала или товарищи по работе. Может, ты сам испугался, что убийца Скулов тебе биографию попачкать может, и решил откреститься от него, а как – недодумал, и ну грязью поливать. Так-то оно, конечно, и проще, и привычнее, и Скулов все понимает, только ведь тебя, Ваня, жалко. Родной ты мой человек, ведь пропадешь так-то, совесть ведь загрызет...

Скрипнула дверь, и конвоир пропустил в комнату сутуловатого длинноволосого молодого человека, в котором Скулов скорее угадал, чем узнал второго адвоката. Адвокат был в плаще и шляпе, которую держал в руке; прошел к столу, сел напротив. Сказал, помолчав:

– Туман. Изморось, что ли. Нелетная погода. Вы почему не едите? Надо есть, есть.

Скулов ничего не ответил, да посетитель и не ждал ответа. Он был чем-то очень взволнован и озабочен, все время думал о чем-то ином, а его, Скулова, как бы и не видел. Опять помолчал, глядя в пол и не удержавшись от вздоха.

– Старика в больницу отвезли, я сопровождал. Знаете, какой человек? Вымирающий. Уникум. А сейчас в реанимации, и состояние, говорят, не очень. Но не инфаркт, нет. Пока – нет, так сказали. Всю жизнь чужим умом восторгался, чужим талантом, чужой добротой: знаете, есть такие натуры, что чужими достоинствами только и живы. Вот и старик наш... А вот на чем защиту собирался строить, так и не сказал. Удивлю, говорит, и разгромлю. Труба, говорил, еще прогремит, я, говорил, ее иерихонской сделаю. Какая труба, не знаете? Вот и я не знаю. И вместо речи, боюсь, бормотать придется. Да вы ешьте, Антон Филимонович, перерыв скоро кончится.

Чтоб не смущать Скулова, молодой защитник встал, отошел к окну и начал разглядывать серую унылую погоду за решеткой. Туман и мелкий дождичек, мокрые крыши, мокрые улицы, машины, людей под зонтами. А Скулов послушно начал есть, то ли потому, что жалел старого адвоката, то ли потому, что молодой назвал его по имени и отчеству.

– Нелетная погодка, и ваш родственничек... Ну этот, свидетель Ковальчук. Нервничает.

– Нервничает? – с робкой надеждой переспросил Скулов.

Невольно это вырвалось: хотелось, очень хотелось ему услышать, что Ваня жалеет о том, как выступил, как осветил, обрисовал, что совестно ему, что...

– Что же это за труба, про которую старик говорил? – Молодой адвокат помолчал, повздыхал, спросил вдруг невпопад: – Как считаете, Антон Филимонович, почему Ковальчук изменил вдруг свои показания?

– Не знаю.

– Застал я его, как говорится, на чемодане в связи с нелетной погодой, – усмехнулся адвокат. – Напомнил, что суд проступок его вряд ли без внимания оставит, за свои слова отвечать надо, разбаловались. А в ответ знаете что услышал? В ответ услышал целую речь о вреде частной собственности, о кулацкой жестокости, о спекуляции на цветах.

Скулов отодвинул тарелку с остатками второго. Закачался на стуле, заскрипел.

– Вот какой принципиальный товарищ. Родного отца готов во имя истины под трибунал подвести. А на поверку – газетный набор слов. Именно газетный штамп, знаете, так и слышится. Правда, одно живое слово все же не утаил, сболтнул, не подумав. В Швецию, видите ли, он сейчас оформляется, в длительную командировку. Любопытно, Антон Филимонович?

– Вы не думайте так насчет Вани, – с трудом проговорил Скулов. – Он вообще-то...

– Вообще-то все мы – люди, – с неожиданной жесткостью перебил молодой адвокат. – Одни честные, другие нечестные, одни свое здоровье берегут пуше глаза, другие – чужое, так, Антон Филимонович? Знаю я, на что ваш инвалидный «Москвич» ушел, мне о докторах да ценах на лекарство Митрофанов Григорий Степанович справку дал. Ешьте, давайте ешьте, теперь до вечера никакой еды не дадут.

Скулов молчал и больше к еде не притрагивался. Адвокат пошел к дверям, взялся за ручку, обернулся вдруг:

– Администраторша в гостинице сказала, что Ковальчука сегодня утром Москва по телефону вызывала. И разговор был, говорит, тридцать семь минут, очень длинный разговор. Вот почему он в нашем городе задержался, Антон Филимонович, и вот почему он показания изменил. Если что о трубах вспомните, не сочтите за труд сообщить.

Молодой адвокат вышел, а Скулов качался себе и качался, так и не притронувшись больше к еде. Качался, как всегда, а думать о Ване уже не мог. Не мог, как ни старался, точно отключился вдруг Ваня от памяти его.

Следовало бы уже начаться завершающей стадии судебного разбирательства, его последней части: речей прокурора, защитника и подсудимого. Публика толпилась перед входом в тесном коридорчике, но двери в зал были закрыты, а секретарь – некрасивая, скучная девица с постным лицом, взглядом и даже фигурой – ни в какие объяснения не вступала, хотя знала причину.

Дело заключалось в том, что перед началом заседания ее, Лену Грибову, разыскал свидетель Иван Свиридович Ковальчук. Он торопился на аэродром, был во всем заграничном, а Лене так хотелось насолить Ирине Андреевне, что она в нарушение всех правил проводила просителя к судье Голубовой.

– Поймите, я руководствовался родственными, внушенными мне буквально с детства отношениями, – журчал Иван Свиридович, когда нетерпеливая публика уже начала громко выражать недовольство. – Я поступил неправильно, опрометчиво, я это осознаю и глубоко переживаю, но зачем же так сурово, Ирина Андреевна? Бога ради, отругайте меня, только не делайте тех опрометчивых выводов, на которые намекал этот... Заседатель Конопатов.

– Народный заседатель Конопатов руководствуется буквой закона, – холодно (ее возмутила демонстративная оплошность секретаря Лены), но пока терпеливо отвечала Голубова. – Определение о сознательном нарушении вами статьи, предусматривающей уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, может быть вынесено в соответствии с процессуальным кодексом. Кроме того...

– Ирина Андреевна, вы же...

– Кроме того, суд может вынести и частное определение о вашем поведении на процессе, которое будет направлено по месту вашей работы.

– Помилуйте, Ирина Андреевна, вы же губите всю мою будущность. Давайте начистоту, мы же интеллигентные люди. Скулову ведь ничем уже не поможешь, так не все ли равно,

как именно и почему именно выступали свидетели? Понимаете, в настоящее время я оформляюсь за рубеж...

Ковальчук замолчал, остро пожалев, что сболтнул лишнего. Черт вынес его с этой заграницей...

– Конечно, это никакая не причина, я понимаю, это так, к слову...

– Сожалею, – резко перебила Ирина Андреевна. – Весьма сожалею, но вашу зарубежную поездку, видимо, придется отложить. Лена! Открой зал и дай звонок к началу.

– Ирина Андреевна, умоляю, войдите в мое положение...

– Извините, я и так задержала процесс. – Голубова была очень недовольна собой, что позволила себе позлорадствовать насчет зарубежной поездки, но уж так некстати ошибалась сегодня Лена. – Всего доброго. Повторяю, всего доброго. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я вызвала милицейский наряд?

– Не хочу. – Ковальчук поклонился. – Будьте здоровы.

Судья пошла готовиться к началу заседания, публика наполняла зал, а кипевший от негодования Ковальчук покинул помещение. К тому времени туман рассеялся окончательно, дождь перестал, и местный аэропорт принял первый самолет из Москвы, доставивший срочные грузы, в том числе и тиражи сегодняшних столичных газет.

– Прошу встать, – привычно произнесла Лена. – Суд идет!

## Совещательная комната

Впервые за четыре дня судебного разбирательства Скулов вдруг расслышал и сообразил, что в зале присутствуют отец и мать погибшего Эдуарда Вешнева. Вздрогнул, точно очнувшись, сразу нашел их среди публики и уже смотрел и смотрел не отрываясь, и ненависть в нем постепенно гасла, заменялась чем-то вроде сожаления, что ли. Нет, не пьяного Эдика с пьяным его матом пожалел он, а этих двух потухших, совсем еще не старых стариков, которым, наверно, еще не было и пятидесяти и уже не было жизни. Поэтому он не слушал прокурора, не мог слушать, а думал о той ночи, о выстреле, о сыне этих несчастных и о собственном сыне, которого никогда не видел, и еще – о том ребенке, о котором всю жизнь мечтала Аня и которого у нее не было и не могло быть. «И чего тогда из детдома не взяли, чего испугались?..»

Он не слышал главного: чего прокурор требовал. Поздно очнулся от дум, смысла речи не уловил, но – по инерции, что ли, – начал слушать защитника. А защиту представлял молодой, тот, что заходил к нему в перерыв, о какой-то трубе спрашивал: для него это дело было первым, и он, растерянный и убитый несчастьем со своим патроном, не успел подготовиться, а потому и пробормотал свою речь неубедительно. Просил суд учесть прошлые заслуги, фронттовую инвалидность, состояние здоровья обвиняемого, ничего уже не подвергая сомнению и во всем соглашаясь с обвинением. Слушали его без интереса, перешептывались, скрипели стульями и замерли только, когда суд представил последнее слово подсудимому.

– Вставай. Вставай, слышишь? – зашипел в ухо конвоир и помог подняться.

Поднявшись, Скулов двумя руками вцепился в барьер и молча уставился в зал. Он хотел посмотреть и на детей – на Майку с Виктором – и на Нинель, которая так неожиданно вступилась тут за него, очень хотел, но не смог. Не мог он оторвать глаз от двух нестарых стариков, от родителей, которых он состарил, лишил сына, смысла жизни, сил и желания жить. Смотрел и молчал, и пальцы у него побелели, до того он барьер стискивал. Судья дважды напомнила, чтоб говорил, что ждут же все его последнего слова. И тогда Скулов понял, что не может он в глаза родителям убитого им парня сказать то, что задумал еще в камере: мол, три раза я в воздух стрелял, четвертый – в него. И если бы промахнулся или там осечка случилась, снова бы ружье перезарядил, а все равно бы – в него, в пьяного Эдика этого. И тогда бы уж – дуэлетом, тогда бы уж – залпом, наповал, потому что он, Эдуард этот, Аню его покойную, единственную его Аню такими словами обозвал, что... Нет, не мог, оказывается, Скулов этим признанием суд над собою завершить и, не отрывая глаз от родителей погибшего Эдуарда Вешнева, сказал совсем не то, о чем думал и что собирался сказать:

– Единственно, перед кем вину чувствую, так это перед вами. Не перед ним, в которого выстрелил, не перед судом, не перед обществом вины не чувствую, хоть и виноват, знаю, а вот перед теми, кто родил, вскормил и вырастил, перед ними я виноват неоплатно. – Скулов низко, сколько барьер позволял, склонился, постоял в поклоне, а распрямившись, сказал жестко: – Прошу суд вынести мне самое тяжелое наказание. Самое тяжелое. Все. Больше говорить не буду.

Сел. В зале было тихо-тихо, даже стулья не скрипели, а Нинель Павловна всхлипывала осторожно, изо всех сил сдерживая себя. Судья пошептала с заседателями и встала:

– Суд удаляется на совещание.

Все встали. Заседатели уже вышли, уже Скулова увели, и публика, переговариваясь, покидала зал, а Ирина Андреевна все еще складывала разбросанные по столу бумажки.

– Вас к телефону.

Голубова подняла голову. Перед нею, улыбаясь, стояла секретарь Лена.

– Скажите, что я – в совещательной комнате.

– Муж. – Лена улыбнулась еще старательнее. – Очень просит, не могла солгать. Уж извините, пожалуйста.

Внутренне проклиная эту иезуитскую улыбку, Голубова прошла в кабинет. Там были люди, кто-то с нею здоровался, кто-то о чем-то расспрашивал: она коротко ответила и взяла трубку.

– Я слушаю. – Как всякая женщина, Ирина все время помнила, что в комнате она не одна, все время слышала и то, что говорит вчерашний муж, и то, что говорит она сама, контролируя не только слова, но и интонацию. – Зачем же такая спешка? А, извини, забыла. Да, полагаются три месяца на размышление. Напиши заявление об особых обстоятельствах. Это абсолютно исключено именно потому, что я работаю в этой системе. Закон есть закон, придется его соблюдать. Всего хорошего.

Она положила трубку, но настроение было испорчено: нашел время напоминать о разводе, и Леночка эта назло рядом торчала со своей ухмылочкой. Конечно, студенточку не уговоришь потерпеть с родами, и товарищ доцент до смерти боится, что она родит до того, как он получит развод с Ириной и распишется с Наташей.

Ах, сильный пол, до чего же ты труслив и жалок...

– Опять – вас, – сказала Лена, протягивая трубку и улыбаясь уже почти с торжеством. – Женский голос. С ледяным оттенком.

– Но я же в совещательной...

– Но вы же не в совещательной?

– Голубова слушает. – Она раздраженно, почти – рывком взяла трубку, не успев сообразить, собраться с мыслями. – Нет. Нет, мы не получали центральных газет, и я ничего не читала. А какое это имеет значение? Что?.. Под названием «Выстрел из прошлого»? Ну, и что же из этого следует?.. Нет, я...

Ирина вдруг замолчала, уже не пытаясь вставить хотя бы слово в тот монолог, который слышала только она, сознавая, что происходит нечто непоправимое, хотя ничего еще не произошло. Но слишком уж многое свалилось на нее за эти четыре дня, слишком неожиданно прозвенел этот звонок, слишком неподготовленной, несобранной оказалась она; плечи ее поникли, спина сутулилась все ниже, сгибаясь над трубкой, будто эта телефонная трубка с каждым словом делалась все веселее, все тяжелее...

А тем временем в совещательной комнате Лида Егоркина первым делом включила чайник, достала заранее припасенные сахар и сдобные булочки. Они всегда обсуждали дела неторопливо и почти по-домашнему, за стаканом чая. А до того как вскипит чайник, обычно занимались своими делами, молчали – и думали, и поэтому, как правило, приговор после чая писался легко, споры гасли на корню, а особых мнений в их практике вообще еще не случалось. И сегодня Юрий Иванович напрямик направился к окну, возле которого любил посоображать до чаепития, наблюдая за обычной уличной суетой, когда вошла Ирина.

– Любящий супруг беспокоился? – с улыбкой поинтересовалась Егоркина.

– Что? – Ирина дернулась, как от горячего, но тут же взяла себя в руки. – Да. Любящий.

– Чай пейте, – сказала Лида, разливая кипяток. – Я настоящего индийского две пачки раздобыла. Аромат – вдохнуть можно!

– Язык у вас, Лида, будто у моей дочки, – проворчал Конопатов, усаживаясь. – Та тоже то сдыхает, то отпадает, то ловит кайф. Ирина Андреевна, прошу.

– Что?.. – Ирина села к столу, но к стакану не притронулась. Заторопилась вдруг, отсутствующе глядя мимо. – Вопрос мне кажется абсолютно ясным. Давайте коротко обменяемся мнениями, а после чая напишем все положенные документы. В том числе и определение о привлечении гражданина Ковальчука к уголовной ответственности. Если, конечно, вы продолжаете настаивать, Юрий Иванович.

В тоне ее слышалась такая злая мстительность, что Конопатов промолчал, соображая. Зато Егоркина энергично тряхнула головой:

– Поддерживаю. Никаких принципов у человека. Мужик называется.

– А если вернуться к сути?

– Это насчет Скулова, Юрий Иванович? Насчет Скулова я так думаю, что есть смягчающие обстоятельства. Но с другой стороны, убийство. Надо все учесть, то есть взвесить. Если бы не этот сердечный приступ...

Все замолчали, продолжая пить чай, думая то ли о чем-то своем, то ли о старом адвокате, то ли о судьбе Скулова, которую им предстояло решить.

– Так... – как бы про себя, но очень решительно сказала Ирина Андреевна. – Дело ясное, остается квалифицировать преступление. Вот этим и предлагаю заняться.

– Господи! – Егоркина всплеснула руками. – Да ведь убил же он, убил и сам не отрицает, что убил.

– Дело далеко не ясное, Ирина Андреевна, далеко, – вздохнул Юрий Иванович. – Дело очень даже непростое, и торопиться в нем – значит таких дров наломать, что самим себе всю жизнь не простим.

– У дела есть определенные сложности, – осторожно сказала Ирина Андреевна. – Но я не считаю его таким уж архисложным. Оно скорее спорное, чем сложное в юридическом смысле, Юрий Иванович.

– Вы убеждены? – Конопатов прошел к канцелярскому столу, покопался в «деле» Скулова, достал из подклеенного к нему конверта несколько фотографий. – Давайте сначала эти фото еще раз посмотрим, а? Как говорится, что застал следователь, но повнимательнее, чем во время заседания.

– Мертвяков боюсь кошмарно, – вздохнула Егоркина.

– Нет тут никаких мертвяков, Лида.

На фотографии был виден поваленный забор, рваные куски колючей проволоки, истоптанная, с вырванными и изломанными цветами клумба. Убитого Эдуарда Вешнева не было, но положение тела обрисовывала белая краска, нанесенная кистью на сырой осенней земле.

– Обратите внимание: убитый лежал на земле, а забор – на убитом. В «деле» еще схема имеется, там это отчетливо видно.

– Ну и что? – спросила Егоркина. – Какая разница?

– А такая, что Вешнев спрыгнул к Скулову на участок раньше, чем рухнул забор. Логично, Ирина Андреевна?

– И что же из этого вытекает?

– То, что вытекает, здесь не видать, – сказал Конопатов, разбирая снимки. – Вы не обратили внимания на одну деталь, а я эти фотографии три часа сквозь увеличительное стекло рассматривал. Вот! – Он положил снимок перед судьей. – Здесь другая точка съемки, и деталь видна отчетливо. Что это лежит, как по-вашему?

И на этой фотографии не оказалось убитого, а имелся только абрис его тела. Ракурс был иным: сбоку, чуть позади и справа от того места, где когда-то лежал Вешнев, валялось что-то вроде...

– Что это? – спросила Ирина Андреевна.

– А, разглядели! Это обрезок трубы, которым он проволоку рвал. Помните, свидетели говорили, что Вешнев первым спрыгнул на участок? Так он с этой трубой спрыгнул, Ирина Андреевна: ни один свидетель не признал, что эта труба принадлежит Скулову. Значит, она принадлежит Вешневу, и он с нею прыгнул с забора, и видите, куда она откатилась, когда он упал? Следователь попался молодой, факта этого не оценил, не исследовал, следственного эксперимента не провел, так что в «деле» мы соответствующего заключения не имеем.

Но и без всякого заключения на основании показаний свидетелей и этого фото видно, что Эдуард Вешнев был вооружен.

– Вооружен? – тихо и как-то растерянно переспросила Ирина.

– Ничего тут не видно. – Егоркина несогласно помотала головой.

– Видно, Лида, видно: на анализе этих фотографий старик хотел строить защиту, да вот несчастье помешало. – Конопатов неожиданно усмехнулся. – Как затрублю, говорит, я в эту трубу, так все, говорит, и рухнет, вот так-то. Ну как, впечатляет снимочек?

– Версия, – важно вздохнула Егоркина.

– А почему же Скулов молчал, что Вешнев оказался на его участке вооруженным обрезком трубы? – недовольно спросила Голубова. – Это же принципиально меняет дело.

– Скулов умереть хочет, зачем ему говорить.

– Из-за выстрела в упор?

– Я сперва тоже думал, что из-за пусть случайного, но все же убийства, – сказал Юрий Иванович. – А потом понял, что не из-за Вешнева, а из-за цветов.

– Каких еще цветов, каких? – недовольно закричала Лида.

Ясное и простое дело начало на ее глазах усложняться, становиться каким-то двусмысленным и вроде бы уже и не «делом». Это выбивало из привычного всезнающего состояния, вселяло ненавистные сомнения, и Егоркина сердилась. А тут еще – цветы.

– Вот, дорогие женщины, клумба со всех сторон обснята, и все видно прекрасно. Нет на ней ни одного цветочка, ни единого. А где они и кто же их сорвал, какие с корнем, какие изломав? Сорвал их пострадавший Эдуард Вешнев, и находились они в его руках: на фото этого, понятно, нет, потому что «скорая» увезла Вешнева вместе с цветами.

Женщины молчали, осознавая предложенную им новую точку зрения как трагедию. И то, что эту точку зрения, эту принципиально новую версию убийства (им уже не хотелось даже про себя говорить «убийство», а хотелось – «несчастье») предложила не защита, а их же коллега, придавало ей особую убедительность. И все же настороженность, с которой исстари без всяких исключений встречается все новое, мешала, сердила и настораживала.

– Ну, чтоб из-за цветов, это вы загнули, – недовольно проворчала Лида.

– Анна Ефремова занималась выращиванием цветов не на продажу, хотя это и пытались навязать Скулову. Вспомните, в «деле» есть свидетельства специалистов ВДНХ: Ефремову, оказывается, знали как видного любителя-селекционера. И есть сведения – лист «дела» семьдесят шесть, – на которых не останавливался прокурор, но которые тоже хотел использовать наш старик: Скулов написал письмо на ВДНХ. В письме он сообщал о новом сорте поздних хризантем, названных им «Аня». В будущем году он намеревался представить хризантемы «Аня» на выставку, а тут, как говорится, «отцвели уж давно хризантемы в саду...». – Юрий Иванович виновато улыбнулся. – Прощения прошу. Глупо, конечно, романсы в суде распевать.

– Ну и зачем нам все это, зачем? – крикнула Лида, ощущая, что начинает жалеть Скулова, и считая эту жалость неправильной и даже опасной. – Он же молчит, этот Скулов, вот и разбирайтесь тут. А раз так, то надо одно иметь в виду: факты. Факты, как говорится, упрямая вещь, и они таковы, что Скулов взял да и всадил парню в живот заряд дроби.

– Всадил, – согласился Конопатов. – Вопрос, почему всадил?

– Не нам же это заново решать, не нам! – горячилась Егоркина. – Наше дело определить меру наказания, поскольку преступление доказано. Вот и все.

– И судья тоже так считает?

– Жаль, не вовремя он заболел, – вздохнула Ирина, имея в виду старого адвоката.

Она замолчала. Конопатов удивленно посмотрел на нее, обождал, не скажет ли чего-нибудь в добавление, осторожно кашлянул:

– Не возражаете, если попробую версию изложить? Во имя торжества справедливости?

Голубова промолчала, будто и не слышала его предложения. Но Егоркина тотчас же бурно закивала Конопатову, и заседатель приободрился.

– Для того чтобы понять, что именно заставило Скулова нажать на спусковой крючок, надо припомнить и то, что предшествовало трагедии, – обстоятельно начал он. – Первое – конечно же, смерть Анны Свиридовны Ефремовой, перевернувшая весь его мир: далее Скулов живет как бы по инерции, что ли, не для себя живет, а во имя ее памяти. Вспомните, он каждый день по два-три раза ходил на ее могилу, каждый день приносил цветы и сидел там часами: в «деле» есть показания работницы кладбища. И второе: за два дня до того проклятого вечера, когда Скулов находился на кладбище, неизвестными лицами была зверски убита его собака. Они методически в течение трех часов кидали в нее камнями, а она никуда не могла скрыться, потому что была привязана: это показала соседка. Три, говорит, часа собака криком кричала.

– А соседка не могла на крыльцо выйти, заорать не могла? – сердито перебила Лида.

– Взрослые, говорит, парни собаку убивали, а соседка одна в доме оказалась, тут не до того, чтоб орать. Когда Скулов вернулся, собака уже не дышала, и так это его потрясло, что он ночевал не дома, а у Митрофанова Григория Степановича, своего друга.

– Подбираетесь к смягчающим обстоятельствам? – понимающе улыбнулась Ирина. – От них до убийства... Не вижу ни связи, ни логики.

Она не принимала участия в разговоре, все время о чем-то напряженно размышляя, и внезапная улыбка ее была отсутствующей и вымученной. Юрий Иванович сбился, налил себе остывшего чая, отхлебнул. Сказал, помолчал:

– Есть и связь, и логика. Скулов три раза в воздух стрелял, это все подтверждают. Значит, трижды – предупреждение, а потом вдруг – в упор. Почему же вдруг?

– Что же, сильное душевное волнение? – деловито осведомилась Егоркина. – Лично я против этой формулировки возражать не буду.

– Волнение – это безусловно, это – само собой. – Конопатов опять прошел к столу, на котором лежали тома «дела» и вещественные доказательства, полистал страницы. – Вот. Допрос свидетеля Самохи Виталия Ивановича. Он показал: «Потом Эдик с забора на участок спрыгнул и стал рвать цветы. Скулов в воздух стреляет, а Эдик рвет себе. А потом крепко выругался, и тут этот Скулов в него выстрелил, а под нами забор подломился, и мы – я и Русаков Денис – вместе с забором прямо на Эдика рухнули...» Так это зафиксировано следователем, а на процессе, если помните, адвокат попросил Самоху уточнить, как именно Вешнев обругал Скулова. Тот сказал, что нецензурно, и тогда старик попросил его написать эту брань на бумажке. Самоха написал, и вы, дорогие женщины, уполномочили меня прочитать эту бумажку вместе с защитой. Я прочитал, адвокат сжег записку, но я ее запомнил.

– Ругань запомнили? – усмехнулась Егоркина.

– Это, Лида, не ругань, это – действие, потому что после этих слов сразу же последовал выстрел. Подчеркиваю: сразу же. Потому что Вешнев грязно обругал Анну Ефремову.

– Вы говорили на процессе, в чей адрес была брань.

– Говорил, но тогда у меня еще никакой версии не существовало. Так, догадки, предположения. А теперь все сложилось, и я твердо убежден, что никакого умышленного убийства не было.

– Как не было? – вскинулась Егоркина. – Ну как же так не было, Ирина Андреевна? Голубова промолчала.

– Повторяю, убийства не было. Было превышение пределов необходимой обороны.

– Ну, вы даете, – растерянно протянула Лида, глядя при этом на судью.

Ирина Андреевна продолжала молчать. Встала из-за стола, походила по комнате, полистала страницы пухлого «дела».

– Знаете, как это выглядело? – спросил Конопатов, которого настораживало это молчание. – Вешнев спрыгнул на участок, уже вооруженный обрезком трубы, и стал им отгонять Ску-

лова от клумбы. Скулов пятился и палил в воздух, а Вешнев преспокойно рвал и топтал цветы, поскольку был абсолютно уверен, что такие, как этот несчастный Скулов, в людей не стреляют. Скулов и бабахал в воздух и еще бы, наверно, бабахал, если бы Вешнев сам его под руку не подтолкнул.

– Как то есть подтолкнул? – резко спросила Ирина.

– Видно, придется ознакомить. – Юрий Иванович смущенно улыбнулся. – Во имя справедливости.

Он взял листок бумаги, написал фразу, сложил пополам и протянул Ирине Андреевне.

– Ради бога, извините.

Судья, развернув листок, сразу же начала краснеть. Егоркина подскочила, с любопытством заглянула через плечо.

– Гадость какая!

Конопатов взял из рук Голубовой бумажку, порвал на мелкие кусочки и выбросил в корзину. Ирина старательно отводила глаза, и краска еще не сошла с ее щек.

– Прощения прошу, – повторил Юрий Иванович. – Теперь вы понимаете, почему Скулов, до того мгновения отступавший да стрелявший в воздух, вдруг, ни секунды не медля, выстрелил в упор. Он просто не мог не выстрелить, Ирина Андреевна, права морального не имел. Он то защищал, что дороже жизни для него было, дороже жизни самой в данный момент, и мы обязаны это учитывать. Довели мужика до ручки, что называется.

– Какая гадость! – продолжала возмущенно бормотать Егоркина. – Нет, это же надо: такое – о мертвой женщине!

– Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, статья сто четыре, – привычно сформулировала Ирина Андреевна. – Но в этом случае у нас только один выход: отправить дело на следствие...

Не ожидая подтверждения заседателей, судья села к столу и начала писать официальные документы.

– Слушайте... – неожиданно прищурился Конопатов. – А надо это следствие Скулову?

– Лида, – перебила его Ирина. – Пожалуйста, возьмите сегодняшние газеты...

## «Выстрел из прошлого»

Так называлась статья, опубликованная в одной из молодежных газет и попавшая в город с большим опозданием из-за нелетной погоды. Вот эта статья.

«Выстрел прогремел из двух стволов. Страшная сила отбросила молодое, полное жизни тело, и Эдуард Вешнев упал, как подкошенный колос, все еще сжимая в руке два белых цветочка. Последний подарок, который он хотел сделать любимой, ожидавшей его неподалеку, слышавшей и грохот рокового залпа, и последний возглас любимого:

– Мама!..

Нет, это не уместается в нашем сознании. В наши дни, на окраине большого индустриального города, обезумевшая от ненависти личность зверски убивает цветущую молодую жизнь. Убивает единственного сына, гордость родителей, друзей, школы, завода. Убивает юного Ромео, любящего и любимого, с которым столь же юная и чистая Джульетта еще три минуты назад упивалась волшебством Пушкина и Блока, Есенина и Евтушенко.

Что это – случайность? Нелепое стечение обстоятельств? Непоправимая трагическая оплошность? Не будем торопиться с выводами. Проследим две жизни, рассмотрим два пути до того рокового пересечения, где прозвучал выстрел.

Эдик Вешнев. Вспоминают, как он любил петь, как не расставался с гитарой и пел всегда и везде, пел громко и радостно, восторгаясь жизнью, собственной счастливой судьбой и красотой любимой девушки. Он пел, как поет птица, и сам был похож на большую добрую птицу, заботливо хранящую любовь к отцу и матери, нежность к любимой и верность друзьям. «Отец, мое место – у станка», – еще в школе решил он.

Именно там, в грохочущих цехах, родилась музыка его души, добрая потребность петь для других, веселиться с друзьями, читать волшебные строчки стихов любимой девушке. Да, в своей недолгой жизни он успел полюбить, успел ощутить взаимность, и это переполняло его ощущением простого человеческого счастья. Они решили пожениться после того, как Эдик исполнит свой священный долг, отслужив в рядах Советской армии, ибо они были воспитаны в ясном представлении, что интересы общества всегда достойнее и выше интересов отдельного человека.

Антон Скулов. Безусловно, знакомство с ним никому не доставит радости, но чтобы оценить свет, надо познать мрак, чтобы увидеть вершину, надо заглянуть в бездну. Убийца и жертва – это не только контрапункты трагической развязки, это принципиально различные отношения к основным принципам нашей жизни, это плюс и минус во всем, что бы мы ни рассматривали. Это маленькие, бегающие, глубоко спрятанные под нависшим тяжелым лбом недоверчивые глазки; это суетливое, рыночное потирание рук, будто все время считающих прибыль; это вечно заросшее неопрятной щетиной лицо и привычка раскачиваться, считая про себя. Он считает всегда: кажется, его не учили читать книг, смотреть фильмы, слушать музыку – из всего, что дает человеку современная цивилизация, он добровольно избрал арифметику. Он складывает, вычитает, умножает, делит, но все-таки куда чаще – складывает. Сотня к сотне, десятка к десятке, рубль к рублю. Да, да, рубль к рублю – это не два рубля, не думайте. Рубль к рублю – это двойной выстрел в живот за два цветочка. Это цена человеческой жизни.

Увы, портрет Скулова будет неполон, если мы не потревожим светлую память героини Великой Отечественной войны Анны Свиридовны Ефремовой, родители которой были зверски замучены фашистами, когда она сама воевала на фронте. Ценой собственного здоровья она спасает Скулова; благодарный Скулов находит ее после войны, бросив на произвол судьбы собственную жену и двух малолетних детей. Молодая женщина счастлива, это так естественно, так понятно. Однако как же недолго длилось ее безоблачное счастье! Обманом завладев чужим участком, Скулов принуждает Анну Ефремову – инвалида Великой Отечественной войны

по его же милости! – бросить любимую работу и от зари до зари копать в земле, выращивая цветы, которые он продает на местном рынке. Так осуществляется тайная мечта Скулова: он получает землю и бесплатного, безропотного, любящего его батрака. Так происходит непоправимое изменение психологии, влекущее за собой изменение общественного лица: бывший фронтовик Скулов превращается в ординарного кулака. Процесс необратим, он все более и более разрушает личность: собственность ожесточает человека, искривляет простые и ясные представления о добре и зле, о долге перед обществом, о совести и обязанностях перед близким человеком. Теперь все делается реальным, грубым, зримым: добро – то, что можно отложить на сберкнижку, долг – то, сколько я могу урвать с государства, совесть – колючая проволока да дробовик (ну, чем не кулацкий обрез!) в руках.

Двадцать восьмого сентября пересеклись не просто две судьбы, а две правды, если к несправедливой жизни можно отнести это святое слово. Пересеклись два полярных, два взаимоисключающих представления о добре и зле, о любви и ненависти, о солнце и тьме. “Что подарить тебе перед долгой разлукой? – так, вероятно, подумалось юному Ромео. – Два цветочка не принесут урона владельцу: клумба велика. Обожди меня, любимая, я подарю тебе цветок...”

Это были последние слова, которые услышала юная Джульетта. Увы, у Скулова были сосчитаны все цветочки: кулацкая психология зиждется на патологической жадности и подпирается кулацким представлением о правах личной собственности. “Товарищ, извините, что я сорвал у вас цветок, но я ухожу в армию, и меня ждет любимая”, – сказал Эдик.

В ответ загремели выстрелы».

«На допросе», – писала Ирина Андреевна, не зная, что старый адвокат скончался тем же вечером от острой сердечной недостаточности. А Скулов ничего не просил и ничего не требовал. Наоборот, он даже обрадовался, потому что его опять отвели в камеру.

1983

## Летят мои кони...

### Повесть о своем времени

*«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной армии в городе Смоленске на Покровской горе...»*

А сейчас я еду с ярмарки.

Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя и еще ничего не болит, кроме сердца.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.

Чувства притупляются, как боевые клинки: о них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случилось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и не встреченные встречи, что призрачным роем еще выются вокруг, уже для других.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.

Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, и древнее его, – повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск – в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей – расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немец-

ких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнообразное и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство.

... Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе – колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломаются от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

– Ай, какой хороший мальчик! – худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. – Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

– Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, – строго говорит рыхлая белесая дама. – Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

– Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

– Мадам Алексеева – артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, – решает третья гостья.

– Не так важно, как говорить, а важно, что говорить, – вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. – А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «Гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной – тем более.

... Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты – колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще – как от моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И если знаменитые Молоховские ворота взорваны давно, то твоя еще более знаменитая Варяжская улица – твоя благородная седина, знак твоей древности – переименована в Краснофлотскую совсем недавно, а в десятке шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шейным, построен танцевальный зал...

Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего бога и адрес твоего исповедника, а назывался он Добром. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра – детство или Смоленск.

– Эй, ребяташки, донесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татаринном, цыганом или греком, а старушка – тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь – простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, почтовый адрес его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг, почти осеняя домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожид до наших дней: в войну его спилили немцы. Не знаю, уцелел ли пень, – я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Мона Мойшес, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци?

– Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и... Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!

В шесть лет я расстался с дубом: после очередного переезда в какой-то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на улице Декабристов. А встретился с ним совсем неожиданно через год – пришел на экскурсию. Первую экскурсию в жизни.

Мою первую учительницу звали... К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худошавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатили вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли... к дубу.

– Это самый древний житель нашего города, – сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб – остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам

в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы нафаршировать детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего...

... Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом – даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи, – городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, – дело в том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.

История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история – я уж не говорю о ее нравственном воздействии – спасает нас от спесивой самоуверенности полузнайства.

История разлита во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это – богиня, а не только наука.

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля – лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллера.

В городском парке – старом Лопатинском саду моего детства – до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович – «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник...

... Так я написал, и так было напечатано в журнале «Юность» № 6 за 1982 год. Я получил множество писем, и в одном из них (в письме Владимира Алексеевича Борисюка, тоже смолянина) содержалось любопытное продолжение этого абзаца:

«... на нем (на подоконнике темницы. – *Б. В.*) было выцарапано: «КАБОГРАЛЛЮ». Абракадабра?.. Многие ломали головы. Однако кто-то расшифровал (или – знал), оказывается – аббревиатура:

КА – Капитолина

БО – Борис

ГР – Григорий

АЛ – Александр

ЛЮ – Лопатины – дети губернатора Лопатина, устроителя сада!..»

Вы и сейчас можете погулять по Блонью – так называется сквер в центре города. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы штурмующих и где прятались женщины и дети во время осад города.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар по повелению Святополка Окаянного зарезал юного князя Муромского Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.

Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Коненков – смоляне.

В июне 1936 года городские власти решили осушить остатки крепостного рва подле Молоховских ворот. Тогда это была огромная гниющая лужа; когда спустили воду и осела муть, полтораметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи, и рядом с татарской саблей мирно сосуществовал палаш начала века, а пулеметная лента лежала подле дуэльного пистолета. Чудо объяснялось просто: донная грязь сохранила не только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами Гражданской войны, не желая сдавать властям.

Первыми о кладе, естественно, узнали мальчишки. Оружейный Клондайк ожил: десятки невероятно грязных Томов Сойеров искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне досталась русская бердана без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов – для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло, кому больше, кому меньше, – не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая не денежную, а неуловимую историческую ценность находок. И это тоже было прекрасным уроком истории.

... Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все – только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

– Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, – с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все – кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» –

плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» – творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем...

Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни были сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности.

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра – случайной пулей, послезавтра – оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все – кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня, и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу: – Рожайте, Эля. Роды – великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съезжился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид – краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

– Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена...

...О, как я жалею, что я – не живописец! Я бы непременно написал серое небо и мокрое кладбище, и свежевыврытую могилу, и калеку-краснознаменца. И – женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих – всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званием, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена...

Я уже смутно помню этого сутулого худошавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда

не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя – смотря по сезону, – а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо спрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрел руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой... Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества – это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его.

Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человеческой и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании – стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы – таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, напрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только Гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов – хлор, фосген, хлор-пикрин, иприт – присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокачаться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца металась двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

– Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

– А дома у него – деревянный топчан и книги, – тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. – И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности.

Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки. Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чашобе, судорожно поводя проваленными боками. Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги – блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе.

Цель зверя – прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?

Жизнь зверя – это время от рождения до смерти; звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись, как часы, и сутки, пролетевшие, словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

Это – о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионлетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрел до элементарной физики и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

– Для работы.

– Понятно, – сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство – соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, – видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с таким блеском

в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, иступленного труда.

Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда более не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затянутого в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира, с юношеским пылом декламировавшего в центре Блонья:

Ты скажешь: ветреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила!..»

У красного командира, контуженного немцами и раненного белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий. Смешно? Вероятно, и смешно, и нелепо до крайности, но у слушателя – круглоголового, круглоглазого и круглоухого – бегут мурашки по коже. Пока – от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра – от собственного. Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники: нормальные люди ее делают. Старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья – двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще – жила на паек отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевыполотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает или слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетя тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры – Галя и Оля – попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство – не только в процессе производства, но и в процессе потребления – серьезный, истари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазами, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

В толковом словаре Даля нет существительного «отдых», есть лишь глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека – равно крестьянина или интеллигента – всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием.

Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение, ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых стал занимать непропорционально много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах. В нашем сознании труд и отдых как бы поменялись местами: мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не удивлюсь, коль в новом толковом словаре «труд» перестанет быть существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». Трудиться – заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на отдых.

Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества: идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость.

Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда – это то, из чего едят и пьют, мебель – на чем сидят или спят, одежда – для тепла, а дом – чтобы в нем жить, и ни для чего более. Любимым присловьем моего отца было: «Не то важно, из чего пьешь, а то – с кем пьешь».

Из этого вовсе не следует, что отец закладывал за воротник: он не чурался рюмочки, но до войны – только по праздникам, а после оной – еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив и столь же беспредельно гостеприимен, но глагол «пить» подразумевал для него существительное «чай». Хорошо, если с мамиными пирогами, но пироги случались нечасто.

Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно «излишество» у нас все же было: книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни и оружие, умывшись и сев за стол, припоминал, точно мимоходом:

– Да, меня переводят. Выезжаем послезавтра.

И начинались сборы, лишенные лихорадочной суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы: родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность.

Это-то я теперь понял, что они так считали, а тогда, кряхтя и сопя – фолианты встречались! – осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только нашей семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил, – дело в том, что я физически, до пота и ломоты в неокрепших мускулах ощущал эту великую ценность. Я по детскому, первому, а следовательно, и самому прочному опыту узнал, сколь весом человеческий труд, завещанный людям на века. И, становясь перед книгами на колени – иначе ведь не упакуешь, – я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов.

... Кажется, я так и остался стоять на коленях перед Литературой. И сейчас, возвращаясь с ярмарки, горжусь, что меня хватило на это при всех несуразностях и печалях бытия.

Менее чем за год до кончины отец совершил традиционное путешествие в гости к старому другу. Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему за четыреста с лишним километров на личном транспорте: на велосипеде.

Совсем недавно – шестидесятые годы. В полном разгаре яростная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было как у людей. Уже на владельца мотоцикла смотрят с ироническим соболезнованием, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком, уже пудами скупают книги, уже... Представьте же, а представив, вообразите, как навстречу этому потоку в кителе без погон, полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссежному движению, а мешанской суете. Вопреки – так, пожалуй, будет точнее.

... Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления слезы, не печали – гордости за дух человеческий. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления достать, добыть, купить, продать, а если суммировать – чтобы «как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб сам в машине, а дом – в книгах, которые никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление прессы, имя которому – «как все»!

Я рос на улицах Смоленска куда интенсивнее, чем дома. Как только мы перебрались с Покровской горы в центр, так покой садов, дворов, пустых сараев и ничейных оврагов, на которых мирно паслись козы, сменился мощным двором, с трех сторон замкнутым зданием, а с четвертой – системой бесконечных сараев. А шелест деревьев, кудахтанье кур и нервные вопли коз – грохотом ошинованных колес, топотом копыт, скрипом, стуками, отдельными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом были тогда ломовики. Лошади, лошади, лошади – сквозь все детство мое прошли лошадиные морды и лошадиные крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Сотни лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их кормили лошади, щедро рассыпая овес, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошадью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал безнадежно пьян, ибо пили они тоже как ломовые.

...Через десять лет – в октябре сорок первого – судьба вновь свела меня с лошадьми. Я выбрался из последнего своего окружения и попал в кавалерийскую полковую школу. Мне досталась аккуратная гнедая Азиатка, чуткая в поводе и легкая в прыжках. Каждое утро она ласково тыкалась бархатными губами в ладонь, а получив кусок хлеба с солью, благодарно толкала мордой в плечо и вздыхала. Я учился на ней скакать, вольтижировать, брать препятствия, рубить лозу и стрелять с седла, она всегда была послушна, и я очень к ней привязался. И как-то раз, в конце октября, что ли, мы занимались в открытом манеже.

– Завязать повод всем, кроме головного! Подтянуть стремяна! Руки назад! Учебной рысью... ма-арш!..

Мы тряслись по кругу, вырабатывая нелегкое кавалерийское умение управлять лошадью с помощью одних шенкелей, когда послышался гул моторов и дежурный завопил: «Воздух!..»

Мы еще только разводили лошадей по станкам, когда «юнкеры» пошли на бомбежку. Вой и грохот накатывались все ближе, а когда я, держа под уздцы Азиатку, бегом миновал ворота конюшни, раздался удар, на меня посыпалась труха, что-то с силой толкнуло в спину, а моя смиренная лошадка вдруг понеслась по проходу, волоча меня на поводе. У денника я вскочил, как-то сдержал лошадь, а когда привязал и оглянулся, то увидел, что осколки выворотили у моей Азиатки добрых три ребра...

Когда закончился налет, мы вшестером, поддерживая с двух сторон, вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона – злой казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а я замахал руками: «Нет!..»

– Живо дер ты, а не казак! – заорал капитан. – Немедля пристрели кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою...

В те времена – как это странно писать, а ведь это так и есть! – так вот, в те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как помощник в нелегкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности это было справедливо: в стране не хватало еды, и дети зачастую голодали страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того массового умиленного восторга перед, скажем, собакой, положение которой резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанному снегу, морозный ветер охлаждал лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь, волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком. И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратно, в гору, прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.

А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легковой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка сломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.

В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и... отдали в его распоряжение три списанные машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинского сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его – две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.

Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «руссо-балт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно тор-

чал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.

«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и покрышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж немыслимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.

Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.

Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот, кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили, как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:

– Борькин папка на драндулете шпарит!

Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, несмотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:

– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!

Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая – отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела забываемых.

Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металллом, который красноармейцы на ручках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда, и желания.

В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.

Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресло-

втуое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была – и есть по сей день – потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:

– Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?

– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещающая отцу объект регулировки.

Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле расслышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:

– Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до этого он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это горел бензин, который выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.

– Шляпа! – сказал отец, загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: значение определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться...

Каждый год летом мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни: ну пыли в нем было побольше. И все же ездили – думаю, срабатывала привычка – сперва в Высокое, потом – снимая где-либо что-либо. Мама любила Вонлярово, и отец в майские праздники – это были едва ли не единственные гарантированные свободные дни для командиров – отправлялся договариваться. И было три машины в его полном и бесконтрольном владении, а мы поехали на велосипеде. И помню разговор накануне:

– Я не могу, Эля, не имею права. Вот когда будем переезжать, тогда пойду в штаб и попрошу разрешения.

– Я не пушу с тобой Бориса!

– А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки вечные. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся.

...Закройте глаза и представьте: по современному шоссе, забитому «жигулями» и «запорожцами», «москвичами» и «волгами», неторопливо работая педалями, едет старый человек в офицерском кителе без погон, сапогах и белой полотняной фуражке. Ему за семьдесят, у него отрублен палец на левой руке, отравлены газами легкие и прострелено плечо. А он – едет. Навстречу потоку.

Вопреки...

В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не нужно усматривать в этом стремление к оригинальничанью – он вообще был лишен его начисто, – а вот стремление к расширению моего горизонта у него было всегда. И мы поехали по тропинке, что вела вдоль железнодорожного полотна. Она была утоптана до бетонной твердости, и ехать было приятно. Я сидел на раме и держался за руль, а отец неспешно вертел педали, и мы катили. По ровному и под гору, а в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают во всем мире с детьми, а со взрослыми – только в России. Но дело даже не в разговорах, – в конце концов, разговоры одинаковы у всего детства – дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не спидометром автомашины, – измерив собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под горку ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне порой кажется, что все те объяснения – что машины не его, что бензин не его, что... – были затеяны отцом с единственной целью: показать, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой...

Я пишу о своей семье и своем детстве потому, что все, чем я обладаю, – оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Но поскольку рос я не только дома, я не могу забыть того, с чем, к счастью, незнакомы идущие вослед.

Я был счастливым: отец получал комсоставский паек и два раза в неделю – обед для семьи. То есть для мамы, Гали и меня, но ведь были бабушка, Оля, тетя Таня, кто-то еще. И все равно я был счастливым, и мне завидовали. С той поры я никогда не ем на улице: боюсь снова увидеть взгляд из тех, тридцатых годов. До ужаса боюсь.

Я стараюсь отвлечься от сегодняшних лиц и вспоминаю лица своих сверстников тех дней. Время размыло их, но оно оказалось не в силах добавить красок в их смутные очертания. И я вижу дряблую старушечью кожу на ножках семилетних девочек, четкие – углем обводили для смеха! – ребра восьмилетних мальчишек, проваленные, точно растущие внутрь, щеки и у тех и у других и серьезные, пугающе серьезные глаза.

...Куда с таким недетским вниманием вглядывались мои друзья? В сытость завтрашнего дня? Она пришла, мы отъелись, заулыбались, запели веселые песни и... И пошли на фронт. И фашистские танки забуксовали на баррикаде из двадцати миллионов наших тел...

С какого-то времени – старею, что ли? – жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, противолежащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта, какая-то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы – только гости. Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда – незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте...

Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяй-

ничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже отбыла от станции «Вчера», еще не достигла станции «Завтра» и, судорожно громыхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи Гражданской войны в алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.

И еще ничего не успели разложить по полочкам, рассортировать и классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского.

Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались – те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в центре, – те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение победного торжества.

В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разрушаемой Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот или взорванного храма Христа Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило, кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли же в конце концов Триумфальную арку!), но это – в стороне от потока, от грома аплодисментов, рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы...» Существует атмосфера праздника: мы выросли в климате праздника.

...А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем – на похоронах: какой простор для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее и глупее, чем в будни...

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.

Это – так. Но для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарует нас силой и здоровьем для этой отцовской цели, если мы – плод любви, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же сыном отвергаемой культуры. Я уж не говорю о бабушке и маме – женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица – в самом широком смысле – уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупповская сталь.

Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и трудно предсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских

и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий. И этим благородным божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.

... Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама. С плачем и пустой корзинкой.

– Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!

Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).

– Элочка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку треф?

– Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!

– Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку треф?..

Это – бабушка.

Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату царственной походкой и с короной на голове.

– Кто ты, о чужеземец?

– Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор Колумб...

И тут появляется незапланированная мама:

– Боже мой, что происходит?

– Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля, – торжественно говорит Изабелла Испанская. – Только на таких каравеллах и можно открыть еще не открытые Америки.

Это – бабушка.

... – Эля, в Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?

Исчезли керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. А хлеб стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха которого у меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся пайками (ударение на первом слоге). Пайка хлеба – пол фунта. Двести граммов.

Бабушка берет бидон и идет стоять в длиннющей очереди. В очереди еще полно «бывших» (ныне они официально именуется «лишенцами», поскольку лишены избирательного права), и бабушка отводит душу в воспоминаниях и французском языке.

О, эти очереди! Возникшие при царе как очереди за хлебом, вы упорно не желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, «что дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое: «Кто последний, что дают?»

Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона.

– Эля, нам поразительно повезло. Поразительно! Я случайно встретила мадам Костантиади. Ты помнишь мадам Костантиади? Так представь себе, она служит в оперетте и завтра поведет Бореньку на «Фиалку Монмартра»!

– Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать «смотрите здесь, смотрите там»?

– Пусть он узнает, куда смотреть, через искусство, а не через уличные сплетни. Кроме того, с ним пойду я.

– А где бидон?

– Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса.

Это – бабушка.

...Мы сидим в центре Смоленска на Блонье. Я задаю бесконечные «почему», мешая бабушке насладиться французским романом. Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома: ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, на которых отпечатано «БОРЯ». Мы – в сладостном предвкушении: я собираюсь заняться мороженым, бабушка – наконец-то вцепиться в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаявшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки-бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я ревниво хмурюсь...

– Какая прелесть! – громко объявляет бабушка, оставив роман. – Так женщины смотрят на бриллианты. А как грациозно она стоит! Боже, боже, и ты еще чего-то ждешь, Боря? Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты – настоящий мужчина!

Это – бабушка.

...Когда-то отец увлекался копированием картин, и в одной из комнат нашего домика на Покровской горе висели «Иван-царевич на сером волке», «Аленушка», «Три богатыря», что-то еще. И вот зимними вечерами мы с бабушкой уходили в ту комнату. При этом бабушка оставляла дверь в большую комнату открытой, чтобы свет керосиновой лампы падал на какую-либо из отцовских копий. Мы усаживались перед нею и...

– Ранним утром три русских богатыря выехали на разведку, – приглушенно и заманчиво начинала бабушка. – Они ехали долго, и мягкий ковыль бесшумно стлался под копытами их коней...

И васнецовские богатыри оживали в мерцающем свете: они скакали по степи, высматривали врага, сходились с ним в жестокой рубке. И свистели стрелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые...

– Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали на одного Алешу Поповича? – горячо, убежденно спрашивала бабушка. – Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алеша, держись!

– Алеша! – во весь голос кричали мы оба. – Держись, Алеша!..

В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда кончалось наше «кино» – а кончалось оно неизменно победой Добра, – я врвался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать, что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении царевны.

Это – бабушка.

...Мы живем в центре, а я учусь в 1-м классе 13-й образцовой школы имени Бубнова, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка:

– Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!

Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции, германскую и Гражданскую войны, нэп, коллективизацию и начало первой пятилетки. В помещении бывшей синагоги ныне располагался театр, который смоляне называли Пятнадцатым. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кинематографом, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа.

Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной расстрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда гово-

рила, что «идет на службу». Так вот, придя «на службу», бабушка распахивала настежь двери, ставила на пороге личный стул, надевала очки, сноровисто сворачивала сигарку из крепчайшей махры, доставала роман, прикуривала и... И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила:

– Пожалуйста, мальчик, не шумите. Вы мешаєте читать.

Шли последние годы немого кино, и я знал о нем все.

Я знал, какой фильм интересен, а какой – нет, какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача, какую музыку следует исполнять при появлении бабки Махно, а какую – при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чей-то «Спартак» и чью-то «Куртизанку», какого-то «Наполеона» и неизвестно кем созданный боевик об англо-бурской войне, и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен бабушкой относиться к кино, как к импульсу для личного творчества, как к канве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы – я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино прежде всего как полуфабрикат – исключения, естественно, случаются – сохранилось до сей поры. Я и теперь с удовольствием пересказываю фильмы, но сколько раз пересказываю, столько вариантов и создаю, иначе мне просто неинтересно пересказывать, а зачастую и смотреть.

И все это – бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно: она сама научила меня сочинять. Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа.

...Мама рассказывала, что бабушка, уже долгое время не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила:

– Где Боря, Эля? Где мой Боря?

Шел март 1943 года, и я находился далеко от города Камень-на-Оби. Города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия...

Я пишу о многом и о многих, а о маме – сдержанно, и может создаться впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней. Но это не так, я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет: она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный пример любви, самоотречения и преданности... Она... да разве можно перечислить, что дает мать самому любимому из своих детей?!

По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать. Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:

– Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь, когда ты на фронте проливаешь свою геройскую кровь за наше общее счастье? Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю резолюцию...

Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене Васильевой работу и трудовое питание при раненых геройских бойцах...» Но работой обеспечивали совсем

не геройские раненые бойцы, а бывшие военные чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму обеспечили инфекционным баракком, а через месяц она заболела оспой. По счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме, оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память о Гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и приятелем.

– Легкая она была, как спичка, – любил рассказывать дядя Карл, отпуская воду на водочачке. – Такая была легкая, что я никому ее не отдал и нес от госпиталя до дома без пересмены.

У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец, но – странное дело! – я никак не могу представить ее молодой. Легко представляю молодого отца, с натугой – молодую бабушку, но мама для меня всегда немолода. И, может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней...

...О, как неистово хочется вернуться в детство, хотя бы на полчаса! Увидеть отца, маму, бабушку, обнять их, попросить прощения и непременно успеть сказать:

– Почитай мне вслух, мама...

Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я наострил, на ходу сочиняя то, чего не было, но могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.

Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-душителей, о сокровищах Монтецумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адаме и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте:

– Пить охота.

И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми...»

Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и – выражаясь толстовским языком – полюблять ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.

У нас в семье читали вслух при первой возможности, но читали почтенных писателей: Тургенева, Гончарова, Гоголя, Лермонтова и почему-то весьма скромного Данилевского. Не скажу, что мне было невероятно интересно, зато интересно было моему отцу, который не уставал восхищаться прочитанным. Его авторитет всегда был для меня абсолютным, а потому я, еще ничего не понимая, уже твердо знал, что кроме литературы, которую переска-

зывают в подвалах, существует и литература, которую, образно говоря, читают, сняв шляпу. А что касается скромного Данилевского, то я и по сей день благодарен ему за первые уроки родной истории.

Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний давно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто, и если когда и поминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести – при всей их наивности! – не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из «Грозной дружины», «Дикаря», «Княжны Джавахи» и других повестей детской писательницы Лидии Чарской.

Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю – как лишенную беллетристики литературу. Но в этом сыграли роль не только Данилевский и Лидия Чарская.

...Я прожил без малого шесть десятков, я еду с ярмарки и все никак не могу понять, как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать истории родной страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного ультраклассового представления, что монархическая Россия не стоит нашей благодарной памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.

Так говорил Пушкин.

Избегая назиданий, будто между прочим, отец сумел посеять в готовой под посев душе моей преклонение перед героями. Первые ростки совпали с выходом в свет знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей»; основатель ее тоже был убежден, что в молодых сердцах надо сеять восторг – и пожнешь жажду подвига. Первая книга «ЖЗЛ», которую я прочитал, была о Сен-Симоне: «Вставайте, сир, вас ждут великие дела!». Я был потрясен величием духа потомка королей, а за ним последовали жестокий конкистадор Франциско Пизарро и отчаянный пират сэр Френсис Дрейк, отважный путешественник Давид Ливингстон и азартный репортер Стенли, угрюмый завоеватель Тамерлан и фанатично преданный идее Христофор Колумб. Я всегда увлекался людьми активного начала и упорно собирал книги о полководцах, путешественниках и авантюристах всех времен и народов. Заметив это, отец принес огромную, еще старой печати, карту мира, набор командирских цветных карандашей и научил кропотливо прокладывать маршруты, а не просто читать. И я милую за милую прошел с Магелланом, вычертил путь Джеймса Кука и точно знал, куда и как плыл Лаперуз. Отважные, но отдаленные временем, а потому почти абстрактные путешественники ожили с помощью этой карты, обрели плоть и страх, дерзость и отчаяние, веру в свое призвание и ослепительный миг торжества.

Если я познакомился с историей через литературу, а с географией – через великих мореплавателей, то следующий шаг логично следовал из восторженного отношения к героям и героике. Конечно, тут сыграло роль и то, что я был сыном участника Гражданской войны, рос среди рассказов и воспоминаний, в семь лет разбирал наган и знал все виды стрелкового оружия так, как современный мальчишка знает марки автомашин. Игра с огромной картой мира, где каждое путешествие имело свой цвет, вскоре оказалась недостаточной; карты стали изменяться,

пока не превратились из карт географических в карты топографические. Помню, что, с упоением прочитав о Ганнибале, я начал излагать его подвиги отцу, а отец, выслушав, спросил, понял ли я, что значат для военного искусства знаменитые Канны. Я начал что-то бормотать, привычно стремясь перебраться на то, что мне ведомо, но отец взял бумагу, набросал схему сражения и подробно растолковал, как Варрон построил свои когорты, что противопоставил могучему, но малоподвижному противнику Ганнибал и как конница его брата Газдрубала, разметав римские заслоны, зажала легионы в железное кольцо. Я не утверждаю, что именно тогда понял, в чем заключается искусство полководца, – для этого понадобились и время, и военная академия, и масса изученной литературы, но меня поразила осязаемость, что ли, отгремевшего сражения, его четкая, геометрическая завершенность: битва решалась, как теорема «что и требовалось доказать».

Великие мореплаватели отошли на второй план: словно поняв правила некой «военной игры» истории, я и играл в нее. Сражений было множество; чтобы в них разобраться, надо было читать уже не романы и даже не «ЖЗЛ». И я ринулся к отцовским полкам, потому что отец любил военную историю и собирал библиотечку. Это было нелегко, но у меня хватило восторженной настойчивости самому разбираться: я читал, чертил схемы и упоенно громил противника или терпел жесточайшие поражения. Для примера могу упомянуть, что лет этак в двенадцать я осилил скучнейшую «Историю военного искусства» Дельбрюка, но так и не смог повторить его подвига, когда мне перевалило за пятьдесят.

Так я увлекся военной историей, но дело не только в том, что я многое узнал. Вскоре мне уже перестало хватать одних «сюжетов», если под «сюжетом» понимать собственно битву: я стал интересоваться причинами и следствиями, опыт чтения научной литературы у меня уже был, и я начал читать историю, как читал литературу, то есть взахлеб. Это случилось классе в восьмом, и с того времени я точно знал, что буду историком.

...Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не стали. Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными, Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями, отцами, дедами. Мы стали ничем и всем: ЗЕМЛЕЙ.

Потому что мы стали солдатами.

Мы взрывали, вместо того чтобы строить; ломали, вместо того чтобы чинить; калечили, вместо того чтобы помогать, и убивали, вместо того чтобы в счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю «МЫ» не потому, что хочу урвать кроху вашей воинской славы, знакомые и незнакомые ровесники мои. Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях летом сорок первого, воевали за меня, когда я скитался по полковым школам, маршевым ротам и формированиям, дали мне возможность учиться в Бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война переехала и через меня, и если не запахла, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она – во мне, часть моего существа, обугленный листок биографии. И еще – особый долг за то, что в целых и невредимых оставили именно меня...

В 54-й неполной средней школе города Воронежа мне наконец-таки повезло с учительницей русского языка: это была Мария Александровна Морева. С ее помощью в 7-м классе мы начали выпускать литературный журнал объемом в две ученические тетради. Мы – это Коля и я. Коля писал стихи и поэмы с продолжением «в след. №» и подписывался ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ. Я строчил рассказы о Гражданской войне, Африке и Испании, которые подписывал еще более звучно: И. ЗЮЙД-ВЕСТОВ. Почему я избрал псевдонимом Юго-Запад, этого я объяснить не могу. У меня всегда была склонность к трескучим фразам, и псевдоним ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ был навязан скромному поэту мной. В отличие от меня Коля совсем не стремился писать о том, чего не ведал, и одно его стихотворение было напечатано в воро-

нежской молодежной газете: его передала туда Мария Александровна. И я до отчаяния завидовал Кольке...

...Его звали Николаем Петровичем Плужниковым, у него была сестра Вера, и я назвал его именем одного из первых своих героев – героя романа «В списках не значился». Мне необходимо было положить свой венок на могилу самого близкого друга моего...

В воскресенье 22 июня 1941 года мы с Колей и еще с двумя ребятами из нашего класса бежали купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза; ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей – она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом – школы № 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями. А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо его было серым. «Мальчики, – сказал он. – Война, мальчики». А мы заорали «Ура!».

Из четырех семнадцатилетних парнишек, глупо оравших «ура!» в день начала Великой Отечественной войны, в живых остался я один.

В той самой школе, в которой мы с Колей выпускали рукописный журнал и на крыльце которой нам суждено было встретить войну, произошло еще одно событие, не менее для меня важное. Актер Молодого (он так и назывался) театра Миша (фамилию я, к сожалению, забыл) организовал драмкружок. Кружок осилил всего один спектакль – «Юбилей» Чехова, где я играл Шипучина. Затем Миша исчез, кружок распался, но вскоре меня вызвала учительница немецкого языка Анна Яковлевна Цвик. Я приуныл, полагая, что дело касается моих успехов, но Анна Яковлевна предложила тайком подготовить спектакль по какой-то одноактной пьесе на два лица «про шпионов». Мы стали репетировать то в пустых классах, то на дому и неожиданно для всех сыграли спектакль. Успех был феерическим, нас приглашали в другие школы, и я ходил задравши нос. И в какой-то из школ нас увидел знаменитый воронежский актер Папов; после спектакля он говорил со мной и пригласил на генеральную репетицию. Был «Гамлет» (о нем много писали тогда), и я ошалел не только от Гамлета, но и от атмосферы репетиции, от собственного присутствия не в качестве зрителя, а в качестве приглашенного, то есть почти своего, театрального человека. Пустяк? Да, но с этого пустяка началась моя особая влюбленность в театр, которую я пронес сквозь войну, ученье, работу на заводах, как Нао в романе Рони-старшего «Борьба за огонь» пронес тлеющую искорку в плетенке, обмазанной глиной. Долог путь от винограда до вина.

...Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью – период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми – и даже очень молодыми! – мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками – мы стали молодыми взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь – я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, – и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память...

На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость – богатство старости. Ее можно растратить на удовольствия, а можно и пустить в оборот...

Летом сорокового года комсомольский отряд нашей школы отправился на уборку урожая в донскую станицу. То ли это было шефством, то ли комсомольской инициативой, то ли чем-

то еще добровольным – суть не в причине, а в следствии. А следствием был незабываемый август, работа до шестнадцатого пота, азарт тяжелейшей страды, четырехчасовые провальные сны в соломе рядом с грохочущей молотилкой и снова – работа, работа, работа. Поначалу я так уставал, что не мог есть, но втянулся, окреп и трудился уже на равных. А потом мне поручили возить зерно на элеватор. До него было недалеко – более суток воли переставляли клещатые копыта, норовя свернуть куда угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борту, и мы с убийственной медлительностью тащились по степи. И все замирало, замедляло свой естественный ход, и не было ничего, кроме мерного скрипа брички, тяжелого шага волов и странного, животного ощущения воли. Все смешалось – пространство и время: я спал днем, а бодрствовал ночью и, кажется, впервые понял, что такое ночь и что такое день.

...Я пишу об этом потому, что отчетливо помню чувства сорокалетней давности. И когда говорю, что еду с ярмарки, то вроде и вправду еду, и вновь ощущаю скрип перегруженной брички, вздохи волов, густоту ночного воздуха, запах полыни и звездопад августовского неба. А я лежу на душистом зерне и знать не знаю, что ровно через год буду метаться в окружении в нехоженных смоленских лесах. И, вместо того чтобы стать юношей, стану солдатом, как миллионы моих ровесников.

Как-то на одном из пленумов Союза кинематографистов я в полемическом задоре объявил вредными (или как минимум бесполезными) все учебные заведения, в которых из нормального человека делают «писателя или киносценариста». Возможно, я перегнул палку, но и сегодня мне кажется, что обучать профессиональным навыкам следует не до того, как человек на личном опыте узнал, что такое пот и надежда, предательство друга и измена женщины, а после. После того, как будущий писатель собственным горбом научится зарабатывать хлеб насущный, сохранив желание стать писателем, несмотря на ежесуточное недосыпание. Это представляется мне нормальным, естественным отбором в противовес принятому сейчас выращиванию гениев на клумбах. Понимаю, что я субъективен, что в конечном счете все зависит от таланта, но как быть со скудостью жизненного багажа? Заменить его творческими командировками? Допускаю, что в некоторых случаях командировки могут помочь, но полностью поверить в их всемогущество мне решительно мешает собственный житейский опыт.

В 1949 году я работал на Урале инженером-испытателем, был весьма активным комсомольцем, играл Петра в «Мещанах», вел концерты – словом, изо всех сил уничтожал время, которого так не хватает сейчас. И однажды был востребован в заводской комитет комсомола.

– Товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшее известие: к нам едут писатели, – сказал секретарь.

Я оказался в составе «группы приема», и работа закипела. Помню, что к нам направлялись три прозаика (одним из них был Бирюков, автор нашумевшей тогда «Чайки»). Члены «группы приема» немедленно прочитали все, что успели создать прибывающие гости, а самое интересное заключалось в том, что огромный заводские яростно чистили не только снаружи: к дню приезда писателей сколачивались смены и бригады, в которых напрочь отсутствовали пьяницы и прогульщики, лентяи и бракоделы, чересчур молчаливые и чересчур болтливые, а из женских бригад на это время изымали пожилых и некрасивых, доукомплектовывая их секретаршами и машинистками для пущей приятности. Мы заседали допоздна, уточняя маршруты, которыми поведут дорогих гостей, и расставляя на этих маршрутах сплошных передовиков.

Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, и здесь я, естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же... Во-первых, писатель – не натуралист, а мир людской – не муравейник, а во-вто-

рых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель – конечно же! – наблюдает. Наблюдает хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя. И всех героев своих писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов.

Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки навыпуск, всю службу проходил в гимнастерке, галифе да сапогах, а когда надел подаренный гражданский костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу в лодыжке. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней.

Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в 6-м классе догнал отца, так сказать, в длину. И тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но рос я быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. По моему примеру военную форму надел и мой друг Володя Подворчанный; вечерами мы любили прогуливаться в районе военного училища, потому что курсанты в сумраке отдавали нам честь, а мы очень радовались. В школе меня прозвали Солдатом, а когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это – моя судьба и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной: я работал испытателем колесных и гусеничных машин. И отец очень радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в двадцать три года и ведать не ведал, какую свинью ему подложит этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал: все произошло как бы само собой.

После войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава. На места командиров, имевших богатейший боевой опыт, но не обладавших специальным образованием (как правило, училище военного времени), начали приходить выпускники академий, не имеющие полновесного боевого опыта, но обладающие полновесными академическими дипломами. Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью и общей судьбой.

И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в ЦТСА. По ведомственной принадлежности. Это было в апреле, а к маю я получил телеграмму от заведующего литературной частью Антона Дмитриевича Сегеди: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО». Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. 3 мая меня принял Алексей Дмитриевич Попов – руководитель Центрального театра Советской армии.

Мне казалось – да и сейчас кажется, – что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь, начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор; я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги об А. Д. Попове, в юбилейный сборник, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляя, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле – не помню. Ничего не помню, кроме одной фразы:

– Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать – со сцены. Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.

А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись, исчерканную его красным карандашом: теперь она хранится в музее театра. И втолковывал мне, что такое роль, а я так ничего и не запомнил.

Домой я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая. И сразу же подал рапорт с просьбой о демобилизации «в связи с желанием заняться литературным трудом». Не стану описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты, слез матери и хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего, и в сентябре 1954-го получил полную возможность «заниматься литературным трудом»...

...Странно, трижды жизнь предоставляла мне редчайшее право самому решать свою судьбу. Я всегда воспринимал это восторженно и никогда – критически, всегда глядел на предоставляющуюся возможность изнутри, а не снаружи, не желая думать, чего это стоит, а мечтая о результатах. Так было, когда я с энтузиазмом ринулся на инженерный факультет военной академии, не только не имея ни малейшей склонности к технике (кроме пожара в гараже), но будучи гуманитарием, так сказать, с головы до пят. Так было и тогда, когда по тесному кабинету метался прекрасный Алексей Дмитриевич, а я не столько слушал его, сколько рисовал в воображении афиши московских театров и прикидывал названия будущих премьер. Так было и в третий раз, когда вместо театра я оказался в кинематографе, который должен был бы, кажется, постичь с помощью родной бабушки на венском стуле...

ЦТСА заключил со мной первый в моей жизни договор, на аванс от которого я купил первый в своей жизни костюм и шляпу; на пальто денег не хватило, и я долго ходил в офицерской шинели и – в шляпе. Общими усилиями пьеса была доведена до сценического варианта, начались репетиции. Спектакль ставил Иван Петрович Ворошилов; я постоянно спорил с ним и дома – а жил я тогда у сестры вместе с ее семьей и мамой (отец не выезжал с дачи более чем на сутки: он не любил Москвы) – всячески поносил режиссера. А поскольку называл я его по фамилии и при этом в выражениях не стеснялся, мама очень пугалась и бежала наглухо закрывать окна.

В декабре 1955 года начались общественные просмотры. Пьеса к тому времени изменила название, поскольку в репертуаре театра оказались «Летчики» Л. Аграновича и С. Листова. Иметь рядом с «Летчиками» еще и «Танкистов» было чересчур, и в конечном счете моя пьеса стала называться «Офицер». Спектакль театр намеревался показать 25 декабря, о чем оповещали расклеенные по Москве афиши. Состав был отличным: Колофидин, Сазонова, Зельдин, Сошальский, Алексеева, Сомов; в театре и по сей день этот спектакль считают одной из принципиальных удач, хотя он так и не увидел света. И мне достались на память афиша, программа да актерская теплота. А если учесть, что пьесу хотел ставить Акимов и уже приступил к читкам, а главный редактор журнала «Театр» Н. Ф. Погодин намеревался опубликовать ее, то следует признать, что начал я «занятия литературным трудом» с хорошего нокдауна, через год после демобилизации оказавшись у разбитого корыта.

Я перестал бегать по театрам и начал писать. Так много, плохо и быстро я не писал никогда. Я упрямо продолжал считать себя драматургом, был убежден, что постиг театр и что теперь дело только за моим пером...

...Признаюсь, то, что я не драматург, я понял не так уж давно, поработав с самыми разными театрами и самыми разными режиссерами. Понял, что драматургами, как и прозаиками, не становятся, а рождаются, что мало знать законы жанра, специфику театра и уметь писать слева – кто говорит, справа – что говорят. Драматург и сам мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать (что естественно для прозаика), сколько приблизить их к амплуа, подмечая в жизни «роль», а уж потом – тип. Это мне никогда не удавалось, и я не просто не помогал театральным режиссерам, а, сам того не желая,

всегда заставлял их преодолевать «литературу», то есть мое восприятие мира. Но это, повторяю, я сообразил значительно позже, а тогда – строчил.

Из всех торопливо написанных тогда пьес свет увидела одна: «Стучите – и откроется» (тоже об армии). Она была поставлена в театре Черноморского флота и в театре Группы советских войск в Германии. Славы она мне не принесла, денег тоже (я по-прежнему жил на весьма скромную зарплату жены), зато я получил право писать во всяких бумажках, что мои пьесы «идут как в театрах нашей страны, так и за ее пределами». Как назвался я И. Зюйд-Вестовым в 7-м классе, так им и остался. Жизнь была не слишком веселой, но я не унывал, неистово веря, что все будет прекрасно. Я всегда верил в собственную мечту исступленнее, чем в реальность, и не продал этой веры на ярмарке, с которой сейчас возвращаюсь.

Здесь следует кое-что объяснить. В те времена (тридцать лет назад) при Главкино существовала Сценарная студия, директором которой был В. Е. Дулгерев. Статус этой студии отличался от современной тем, что она как бы совмещала собственно производственную студию со сценарными курсами, состоявшими из мастерских, которые вели признанные мастера кино: Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Мария Николаевна Смирнова, Екатерина Николаевна Виноградская, Александр Петрович Довженко, кто-то еще и – Николай Федорович Погодин. Мастера набирали начинающих на основании их заявок, а начинающие писали по этим заявкам сценарии, получая стипендию в полторы тысячи рублей (150 по нынешним деньгам). Условия были весьма льготными, желающих – множество, но Николай Федорович неожиданно пригласил меня и сохранял место, пока я не сочинил приемлемой заявки. А через восемь, что ли, месяцев закончил сценарий, по которому Свердловская киностудия поставила фильм «Очередной рейс» с Георгием Юматовым в главной роли. Таким образом я из драматурга переквалифицировался в киносценариста, но моя драматургическая карьера на этом этапе закончилась прекрасным аккордом.

В 1956 году Союз писателей решил провести в Переделкине полуторамесячный семинар молодых драматургов. Кого там только не было: Александр Володин и Леонид Зорин, Михаил Шатров и Марк Соболев, Микола Зарудный и Виктор Курочкин, Лев Давыдычев и Лев Устинов, Леонид Агранович, Зак и Кузнецов, Алешин, Маша Сторожева, Афанасий Салынский... и много-много других. Ночные споры до хрипоты, общие читки пьес, разбор по гамбургскому счету: мы были молоды и отлично знали, как именно надо писать. А руководил этим шумным, озорным и очень талантливым сборищем Владимир Федорович Пименов; ныне птенцы его давно оперились, но до сей поры с юношеским пылом вспоминают ту переделкинскую осень, и если у меня спрашивают, бывает ли толк от творческих семинаров, я категорически утверждаю это, помня свой первый семинар.

Но вернемся к Сценарной студии, которая оказалась для меня единственным творческим учебным заведением и куда я ходил, правда, реже, чем на бабушкины киносеансы. Формой ученья были лекции, индивидуальные занятия с мастерами и просмотры. Хорошо помню первую обзорную лекцию, которую прочел Виктор Борисович Шкловский. Начал он совсем уж парадоксально:

– В кино за вход платят рубль, а за выход – два. Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным.

Никто, разумеется, не ушел, но жизнь подтвердила правоту очередного парадокса Виктора Борисовича, и я, например, до сей поры никак не могу расстаться с кино, хотя почти все картины, сделанные по моим сценариям, стоили мне дорогих компромиссов. Да, в кино ни в грош не ставят автора, не считают сценарий литературой, но где, скажите мне, раздобыть те заветные два рубля, которыми, по словам Шкловского, надо оплатить уход из кинематографа?..

Студия – не семинар, и я не могу вспомнить всех, кто занимался одновременно со мной. Помню Юлию Друнину, Тадеоса Бархударяна, Аллу Белякову, Даниила Храбровицкого и,

конечно, Кирилл Рапопорта, своего друга и соавтора многих сценариев. А кто со мной был в мастерской Погодина, я напрочь позабыл, потому что бегал к Николаю Федоровичу один, но – почти каждый день.

...Круглая, в кольцах седых волос, всегда трясущаяся голова, прищуренный, невозможно лукавый взгляд – искоса, как луч, и – улыбка. Особая погодинская, с сотней оттенков, намеков и значений. И сентенции:

– Есть только четыре вида драмы: он любит ее, а она его не любит; она любит, но он не любит; оба любят, но кто-то мешает им быть вместе; оба не любят, но кому-то надо, чтобы они не расставались. Вот за чем следит зритель, все остальное – собачья чушь.

– Зритель пошел страшный: в современной пьесе ружье непременно должно висеть в первом акте, но не вздумай из него выстрелить – на смех поднимут.

– Никакой специфики кино нет, это алхимия. Все покоится на тех же китах: любовь, ненависть, ревность, зависть, месть, самопожертвование. Какая же здесь специфика? Что кони по экрану скачут? Собачья чушь, а не специфика.

– Писать – каторга, скучнейшее занятие. Я написал чертову уйму пьес, а с наслаждением – только «Аристократы». Так что не жди, что воспаришь, а каждый божий день лезь в забой, как шахтер. Вдохновение для дам придумано вкуче с экспромтами.

– Ты что, на машинке сочиняешь? Ну и не будет из тебя толку. Писать надо пером. Обыкновенным пером скрипеть по бумаге, как сто лет назад скрипели. Тогда мысль не рвется. А машинка – она ведь железная. Отъединяет.

– Не садись писать, пока точно не знаешь, чем закончишь. Середины можешь не знать, это даже вредно – знать все последовательно. Мертвечина. Но конец знать обязан: конец – цель, в которую ты стреляешь.

– Знаешь, в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной? Каждый мужчина мечтает убить мамонта, но не каждому это удастся. А каждая женщина мечтает завладеть мужчиной, который уже убил мамонта. Вот отсюда и исходи.

– Герои должны говорить неожиданно и внешне нелогично. Тогда возникает диалог. А если ожидаемо – болтовня. Собачья чушь.

– Писателю требуется обаяния больше, чем актеру: он ведь свой текст говорит. Отгачивай, понял?

– Писать надо так, чтобы зритель в шепоте крик услышал. А путь для этого, как у скрипача: каждый день работать. Каждый, без выходных: только таким путем уйдешь от халтуры...

Так учил меня Николай Федорович Погодин. Естественно, я не стенографировал его, и то, что изложено здесь, кристаллизовалось значительно позже, когда я смог прибавить к ученью личный опыт. В конечном счете творчество и есть умение добавить в известное всем капельку личного опыта.

Начало моей карьеры в кино было обещающим. Не успел запуститься в производство «Очередной рейс», как мне и Кириллу Рапопорту предложили написать сценарий «Сержанты», оказавшийся первой ласточкой нашего многолетнего соавторства. Вслед за выходом на экран фильма «Очередной рейс», имевшего хорошую прессу и зрительский успех, я написал еще один сценарий для той же студии. Он назывался «Длинный день», снимались в нем Афанасий Кочетков и Евгений Лазарев, а вторым режиссером на картине работал выпускник ВГИКа Элем Климов. А как только эта картина пошла в прокат, я получил предложение от уже известного в то время режиссера Марлена Хуциева написать с ним вместе сценарий, условно названный Марленом «Застава Ильича».

Не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы я с достаточной ответственностью взялся б за эту работу. Вероятно, справился, Хуциев получил бы приемлемый сценарий, снял бы его и... Но это – из области предположений, а в действительности я отнесся к предло-

жению крайне легкомысленно, пригласил в помощь Кирилла Рапопорта, и в результате Марлен оставил нас. Вместо двух легковесных говорунов он взял молодого Шпаликова, написал с ним сценарий, снял фильм, получивший позднее название «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ».

Кажется, на этом и кончилось мое поступательное движение на стезе кинодраматургии. Правда, я стал членом СК СССР, получив тем самым формальное право на творческую работу, что несколько примирило моего отца с избранной мною судьбой. Но в собственно работе, дававшей мне заработок, так как я нигде не служил, появился ошутимый сбой. Я добросовестно кропал сценарии, основанные на сюжетах, а не на идеях, и все чаще слышал от редакторов уничтожающее определение:

– Литература.

Увы, я не обладал кинематографическим видением, не умел кинематографически мыслить и даже записывать. То, что выходило тогда из-под моего пера, было просто плохой литературой, и поэтому режиссеры избегали меня. Это был тяжелый период, и лишь одна встреча радует меня в нем и до сей поры. Встреча с режиссером Владимиром Михайловичем Петровым, поставившим много картин, и в их числе «Грозу» по Островскому и «Петр Первый» по Ал. Толстому с Николаем Симоновым. Нас познакомила Нина Васильевна Беляева – редактор «Мосфильма», знавшая меня еще по Сценарной студии. Писатель Сергей Никитин предложил свою повесть о девушке-партизанке, а сценарий написать не смог, и в помощь прикрепили меня. Сценарий назывался «Ее лицо», был доведен до запуска, но от него отказались (тогда шла лютая борьба с абстракционизмом в живописи, а наш герой как раз им-то и увлекался), но дело не в сценарии, а во Владимире Михайловиче. Он жил на Воровского, рядом со старым Домом кино (ныне Театр киноактера), где меня часто принимали, кормили, поили старым коньяком – супруга Владимира Михайловича Кетеван Георгиевна была по-грузински гостеприимна, – а меня тянуло в насквозь прокуренный кабинет. Там повсюду валялись раскрытые пачки самых разных сигарет, на полках стояли книги на русском, английском, французском и немецком языках, и не просто стояли, но и читались, и часто переводились мне с листа. Хозяин всегда просил прочитать, что я принес – будь то короткий эпизод или кусок сценария, – и, слушая, рисовал, схематично, но точно раскадровывая мою литературную запись.

– Вы так себе это представляете?

– О да, конечно!

– Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь соглашаться. В мире нет двух людей, которые одинаково видели бы третьего. Поэтому речь может идти лишь о том, что у нас общего, а что – разного. И по законам логики подобие надо отбросить – это заведомый штамп, – а над различными точками зрения неторопливо поразмышлять.

Владимир Михайлович был рациональным даже в лучших своих картинах. К старости он приобрел некоторый скепсис в адрес любимого им кино, но скепсис с привкусом горечи, а не злорадства. А я в это время остро нуждался в ином взгляде на искусство, и Владимир Михайлович неназойливо прививал мне его, постепенно размывая наносные пласты наивной восторженности и ложной патетики.

После неудачи с инсценировкой повести Никитина мы с В. М. Петровым сделали сценарий «Сегодня, в 16:10», довели его до подготовительного периода, а потом и его закрыли, усмотрев противопоставление поколений. Больше с Владимиром Михайловичем я не работал, встречались мы очень редко, а вскоре он умер. Умер завидной смертью: вышел покурить во время съемок, сел в кресло – и будто уснул. И сигарета долго дымилась в холодеющей руке... Он как-то читал мне Пушкина:

Иль в лесу под нож злодею  
Попадуся в стороне,  
Иль со скуки околею

### Где-нибудь в карантине...»

Я разуверился в своих способностях и перестал писать. Я лишь кое-что сочинял, зарабатывая на жизнь: подтекстовки к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника», компилятивные передачи для телевидения и сценарии КВН – Клуба веселых и находчивых. Был тогда на телевидении такой очень популярный цикл, основанный на импровизациях, но, естественно, требующий организованного материала. Вот я и писал для этого сценарии и впервые напечатался не как прозаик и не как драматург, а как составитель сборника сценариев КВН для самодеятельности и автор предисловия в издательстве «Советская Россия». Эта книжечка – первая, и она дорога мне совершенно особо.

В то время я начал путешествовать. Еще в 61-м году нас с женой пригласили в большое автомобильное путешествие друзья. Мы проехали почти семь тысяч километров, отправившись сначала на запад, а затем на юг, до Крыма. Мы не торопились, останавливаясь в красивых и памятных местах, ночуя в палатках и машинах. Так я впервые попал в Брестскую крепость еще до того, как туда протоптали туристическую магистраль; уже был музей, но еще были стены, иссеченные пулями, и подвалы с обожженными сводами, и тишина после боя, и хруст осколков под ногами. И мы бродили по крепости целый день, и я все время думал, что как раз тогда, когда я метался в окружениях, крепость сражалась. А потом весь путь до моря и от моря робко мечтал, что когда-нибудь возьму да и напишу, как она сражалась, пока мы бегали по лесам.

...Признаюсь, мечты – именно мечты, а не мысли! – о прозе посещали меня давно, но носили отвлеченный характер: хорошо-де было бы написать роман... А тут впервые мечта обрела почву, конкретность, пафос, трагизм. Мечта начинала превращаться в мысль, будоражила, вместо того чтобы убаюкивать, лишала сна, тревожила и – злила. Злила, потому что я понимал ее нереальность.

Наверное, это естественно: утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал, впервые задумавшись над романом «Были и небыли». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с Русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой: как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов: акт рождения. Реализация чего-то не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость. Всегда боялся этого, и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить это. И такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, – просто работа. Ремесло, которым зарабатываешь на жизнь.

Вскоре после путешествия я впервые попал на Среднюю Волгу, а точнее – на ее приток Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец; когда наполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила низменную часть города, и ее жителей переселили за сорок километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым названием Дорогиня, с запанью, ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь да непроходимые, заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоги.

Такова была Дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом «Витиме» за четыре часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная гензапань, и огромные баржи развозили оттуда лес по всей Волге. На гензапани грохотали сплоченные машины, качались венгерские плавучие краны «гансы» и суеилось множество народа. В основном это были

сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И, вдосталь наглядевшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжкий, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом.

Это была честная работа, от которой засыпаешь, как в детстве, просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь, когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты – родной брат всем этим усталым чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли: «Закурим, браток, пока немец не стреляет...» И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, трясаясь от волнения, вывел первую строчку: «ВЕЧЕРАМИ В МАЛЕНЬКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ТИХО».

Так начал я свою первую повесть, названную в полном соответствии с И. Зюйд-Вестовым «Бунт на Ивановом катере» и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе.

Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел на новые рельсы.

Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться: меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать, но тогда под гнетом комплекса неполноценности любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии, и ты даже не можешь скрыться с людских глаз. Я держался как мог, шутил и громко хохотал, а в груди ворочалось мстительное: «Ну погодите, я вам еще докажу!..» И пошел доказывать.

Первую повесть – то, что потом назвалось «Иванов катер», – я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал ее знаковому по «Мосфильму» редактору В.В.К., который работал в одном толстом московском журнале.

В. В. прочел рукопись быстро, позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии, и просил принести как можно больше экземпляров. Я немедленно притащил все, что у меня было, и В. В. уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямехонько на бульвар, где меня ждала Зоря (я впервые представляю свою жену, хотя женился-то я в 1946-м, а ждет она меня в 1968-м. Ай-ай, нехорошо.). И мы пешком шли до Белорусского вокзала, и все говорили и говорили. О том, что еще предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать! А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рекемчук – это ему передал рукопись В. В., – сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует.

– ???!

– Да, да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного!

Через неделю позвонил В. В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и – как мне показалось – смущен. Он сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов: повесть встретила серьезные возражения, в план будущего года меня не включают, редактора давать нецелесообразно и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала.

На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:

– Будут брать за горло – покажи характер.

Началась редколлегия, повесть представлял В. В., а я настолько ошалел, что ничего не соображал. И куда делись все комплименты и поздравления? Он скупой отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам, но тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недостижимую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов. В чем только меня не обвиняли – именно меня, а не мою повесть, вот ведь в чем парадокс! – и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне «показать характер». Я показал, и мы с Рекемчуком хлопнули дверью в буквальном смысле слова.

Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я – случись обратное – вряд ли написал бы «А зори здесь тихие...», а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редколлегией журнала «Юность» и не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое – например, любовь, дети, творчество – рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел...

Итак, рассвирепевший Рекемчук увел меня с редколлегии, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал. Она лежала там довольно долго, но однажды меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и бы введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он торопился, разговаривал стоя и очень коротко:

– Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор – Анна Самойловна Берзер. Слушайте ее.

Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский, и говорил задолго до «Зорей тихих...».

11 мая 1968 года в Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и мне всегда хотелось поступить так, как поступил герой горьковского рассказа, – прийти на могилу и доложить:

– Отец – сделано!

Но тогда оно еще не было сделано, я не знал, когда оно будет сделано, но уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество: я дозрел. И зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать.

Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было проще: я знал, что собираюсь писать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась, я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчер-

пываются историей, как пять девушек и старшина не пропустили фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» – это о том, как молоденький лейтенант сражался в Брестской крепости? И «Не стреляйте белых лебедей» – роман о защите окружающей среды? А «Были и небыли» – о Русско-турецкой войне? Конечно же нет – они больше сюжета, шире только рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы. Мое, личное: у других, естественно, все складывалось по-иному.

Наши предки, встречаясь, желали друг другу здоровья и расставались, прося прощения. Первоначальный смысл слов затерялся в пережитом, истерся от частого употребления: изменившийся быт исключил из обихода множество традиций, и мы уже не говорим «Здравствуй!» новорожденному и «Прости!» умирающему. И все же в нас что-то осталось, что-то не поддающееся логическому осмыслению, может быть, память предков. Иначе я не могу объяснить, откуда у меня чувство вины перед теми, кого уже нет.

Никто из нашей семьи не простился с отцом. Накануне у него была сестра: он ни на что не жаловался (он никогда никому не жаловался), был ласков и улыбчив и знал, что не доживет до утра. Сестру тогда удивило, что он ничего не попросил, но она посчитала это извечным отцовским стремлением ничем не досаждать людям. Даже самым близким и самым любимым. И Галя распрощалась с ним, как всегда, но в дверях оглянулась: отец лежал в своей излюбленной позе – на спине, бережно положив под голову свои все умеющие делать руки. Он кротко (я сознательно употребляю это архаическое наречие в наш совсем не кроткий век) улыбнулся ей в последний раз.

– А глаза у него были такие синие, будто не на меня он смотрел, а в небо, – каждый год рассказывает мне сестра.

Да, он уже смотрел в вечность, и потому у него были необычной синевы глаза. Он прекрасно прожил свою жизнь и, несмотря на незаслуженно мучительную смерть, лежал в гробу спокойно и просто. Будто уснул. Мучительству подверглось его тело, но не душа. Душа осталась незамутненной и после жизни.

Вероятно, у него были враги – нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов. Отец никогда не говорил о них: он говорил только о друзьях, и зло не имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень хорошие люди, и всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места. Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не садился в городском транспорте. И нянечка в госпитале рассказывала, что отец последние часы не спал, а ходил по коридору: он терпел рвущие живое тело боли, но мог застонать во сне и, чтобы этого не случилось, чтобы не обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи напролет.

Отец вышел в отставку сразу после войны, получил участок в поселке на Зеленоградской, построил домик и уже не стремился в Москву. «Домик», правда, сказано смело: это была скорее сторожка с засыпными стенами общей площадью в восемнадцать квадратных метров, которую он построил сам от фундамента до конька крыши. Он вообще все делал сам, знал десятки ремесел и по-молодому тянулся к новому, сам себе, например, соорудив телевизор из бросовых деталей.

Осенью поселок пустел, но отец любил тишину и одиночество: мама уезжала к сестре до весны. Отец топил печь, читал, чистил дорожки, с невероятным увлечением паял и перепайвал что-то, совершенствуя свой самодельный телевизор, и ему вечно не хватало времени. Брошенные собаки собирались к нему со всего опустевшего поселка, безошибочным собачьим нюхом определяя, что он – человек. Он кормил эту ораву, и она преданно сопровождала его в поссовет на партийные собрания.

...Когда-то мне часто снился один и тот же сон: старый запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За садом тучи вплотную примыкают к земле, но в саду светло, тепло и тихо. Мы бродим с отцом, по колено утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника и смородины скрыты под нею, как под одеялом, и я знаю, где они, эти кусты. Я разгребая листву и собираю ягоды с голых ветвей. Огромные, перезрелые, очень вкусные ягоды.

И еще листва скрывает яблоки. Они лежат в слоях опавших листьев, не касаясь земли. Крепкие, холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все – низкие тучи и тепло земли, холод яблок и сладость плодов, моя грусть и сам старый сад – все, все, весь сон! – переполнено чувствами. Я не понимаю их и не пытаюсь понять; я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец: молчаливый, небольшого роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет – от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания и лишь молча протягивая мне крепкие холодные яблоки...

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец! Протяни яблоко. Согрей.

И успокой...

Я написал об отце по той же причине, что и о бабушке: он тоже был вполне определенным русским социальным типом. Ныне настолько редким, что впору вспомнить о Красной книге. И еще потому, что должен, обязан успеть доложить:

– Отец – сделано!

Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал неторопливо, иногда несколько строчек в день, часто отвлекаясь. Тогда на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто ездил на съемки, даже снялся в эпизоде, бывал на натуре и в павильонах, а писать не спешил. У меня не было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно – зарабатывать на жизнь, а другое – быть обязанным. Я закончил эту повесть в апреле 1969 года, назвал ее чудовищно («Весною, которой не было», это же придумать надо, это же опять И. Зюйд-Вестов выскочил!), положил в конверт и отправил в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок разбудил меня в шесть часов утра:

– Вы – автор повести? Никому не давайте, мы берем и ждем вас сегодня в редакции.

Звонил Изидор Григорьевич Винокуров – он тогда был заведующим отделом рукописей в «Юности». И впервые я пришел к нему, а уж он знакомил меня с работниками редакции, и в том числе – с Марией Лазаревной Озеровой: их, то есть Озерову и Винокурова, Борис Николаевич Полевой называл моими крестными. И они в самом деле мои крестные, благословившие меня в серьезную литературу.

Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был представлен ему Марией Лазаревной Озеровой. В 1954 году театр города Дзержинска, что на Оке, первым в стране поставил спектакль по книге «Повесть о настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого спектакля.

Узкий и длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе, упираясь ногами, чтобы не сползти вперед. Но вдруг запела труба, и я обо всем забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура, не знаю, удачной ли оказалась инсценировка, – я ничего не знаю, потому что подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше – и много лучше! – но такого мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в антрактах:

он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм и дышал таким единением со сценой, какого – повторяю – мне ощутить более не посчастливилось. А когда окончился спектакль, на сцену вышел Полевой, и зал поднялся, взорвавшись овацией. Не спектаклю, не актерам, нет – Настоящему Человеку, который, смущенно улыбаясь, стоял на сцене в мешковатом костюме без галстука...

– Откуда вы появились, тезка? Расскажите, как дошли до жизни такой...

Многие любят расспрашивать – то ли утоляя собственное любопытство, то ли отдавая дань вежливости, – но я мало встречал людей, которые расспрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать: он оказался первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому автору, рассуждений о будущих романах «В списках не значился» и «Были и небыли». Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким искренним интересом, что мне хотелось писать.

– Слушайте, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати, венгры подарили мне бутылочку превосходного вина, и я думаю, что нам следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки.

Живая заинтересованность и благожелательность были основой характера Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе ближнего и благожелательность к окружающим – это как раз то, чего так не хватает в нашем мире. То действенное добро, без которого трудно жить и трудно работать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.